



rocketbook

Константин ФЕДИН

Наровчатская хроника  
Повести



# Константин Александрович Федин

## Наровчатская

### хроника. Повести

#### Серия «Pocket book (Эксмо)»

*Текст предоставлен издательством*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=63611383](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63611383)  
*Наровчатская хроника. Повести:*

### Аннотация

Константин Александрович Федин (1892-1977) – русский советский писатель, лауреат Сталинской премии первой степени за романы «Первые радости» (1945) и «Необыкновенное лето» (1947-1948). В 1921 году Федин входит в содружество «Серапионовы братья», исповедуя реалистические традиции русской классики. Его литературный талант ценили Борис Пастернак, Стефан Цвейг, Максим Горький, с которым Федина связывали дружеские отношения.

В сборник входят повести «Анна Тимофевна», «Наровчатская хроника», «Трансвааль», «Старик», «Я был актером», написанные в 1920-30 гг. Главная героиня повести «Анна Тимофевна», в которой повествуется о трагической судьбе русской женщины, имеет прототип – подруга матери писателя, претерпевшая сходные жизненные трудности. Повесть «Старик» получила высокую оценку М. Горького, и сам Федин считал

«Старика» одной из лучших своих «новелл». В повести «Я был актером» отразились впечатления Федина от четырехлетнего пребывания в Германии в 1914-1918 гг.

# Содержание

Анна Тимофеевна	5
Глава первая	5
Глава вторая	10
Глава третья	17
Глава четвертая	24
Глава пятая	30
Глава шестая	37
Глава седьмая	44
Глава восьмая	55
Глава девятая	61
Глава десятая	69
Глава одиннадцатая	80
Глава двенадцатая	88
Глава тринадцатая и эпилог	101
Конец ознакомительного фрагмента.	108

# **Константин Александрович Федин Наровчатская хроника. Повести**

**Анна Тимофеевна**

## **Глава первая**

Довольно по реке этой городов понасажено, больших городов и малых, пышных, как купецкая супруга, и убогих, точно сирота круглая. И разными города богатствами упитаны, а есть и такие, где скудно. И разные города мастерства превзошли, и мастерствами шла городов тех слава, слава шла по всей Руси и дальше.

Вот и этот город уездный кому не ведом отменными своими штукатурками? И хоть строил Зимний дворец в Санкт-Петербурге заморский строительный мастер, да только штукатурили-то его артели толстопятые города того уездного, а строение без штукатурки – известно – словно девка небеленая. Да вот так – все палаты царевы, все храмы божие, дворы

гостиные, властей присутствия с тех пор, как на Руси кладку кирпичную зачали, вот так всю Русь кирпичную от края до края сыны городка того уездного бело-набело отштукатурили.

А еще славен городок тот тем, что сучат здесь крепчайшие канаты судовые, веревку русскую пеньковую, шпагат тончайший не хуже аглицкого. Попал такой шпагат в воду – стал крепче; повалялся на ветру – не перекусишь; для снастей рыбачьих, тенет да переметов – клад такой товар, находка.

Крепкий дух идет от лабазов канатных. В знойный день отворены широкие двери лабазные, как каретник перед закладкой. Сидят в лабазах бабы пахучие, щиплют быстрыми пальцами чалки прелые, громоздят круг себя вороха пакли. А у самых ворот лабазных, на табуретках крашенных распустили животы почтеннейшие, именитые степенства гильдейские. Из-под масляных жилеток полы сатиновых рубаш выпущены: известно, что срамно носить прореху неприкрытою. Сидят степенства, слушают, как стрижи оголтело свистят над соборным куполом, слушают стрижей, млеют вместе с разморенной площадью, а больше ничем не занимаются.

А на площади пыльной, посередь кольца лабазного низкого, высится собор пятикупольный, белей снега белого. Да и как не быть ему белей снега, когда штукатурки в городе – свои, не наемные, и их ли учить малярному делу, им ли заказывать, какие надо тереть да мешать краски, чтобы горела на куполах лазурь небесная?

Усыпана лазурь золотыми звездами, блестят они и днем и в ночи, улаждают души православные негасимым своим трепетом. Красив собор, замечателен.

А попытайте спросить у лабазника, чем же особенно собор замечателен?

Не моргнет лабазник глазом:

– Самая в соборе нашем замечательность – псаломщик Роман Иаковлев!

И непременно заходит все нутро лабазника от хохота.

Потому что развеселейший человек во всем городе – соборный псаломщик Роман Яковлев.

– Аз есмь лицо духовного звания и зовусь Иаковлев, в отличие от Яковлева, каковым может быть всякий портной!

Веселости у него было столько, что хватало ее всему городу – и купечеству, и чиновникам, и цеховым людям, и духовным. И не было человека, который бы не любил соборного псаломщика. И не было человека, который бы не прощал ему озорства. А озорничать было псаломщика душевным делом. И озорство его было еретическое, для людей, которых касалось оно, – гибельное, как семь бед.

В день восьмой ноября, в день Михайлов праздновали в соборе престол. Всенощное бдение перед тем служил приехавший викарный архиерей, и на клиросах пели черницы из монастыря пригородного. Повелось так, что и чтения все отправляли в такую службу монашенки, чтобы не нарушалось в храме благочиние дьячими голосами малопристойными.

Приглянулась соборному псаломщику соседка его – чтица-монашенка. Стройна была, молода, брови тонкие под клобучком черненьким неизвестно от какой радости подергивались. Состроил псаломщик лицо строгое, благоговейное, тихонько так на ушко соседке шепчет:

– Позволь, сестрица, псалтирь на минутку.

Потупилась чтица, дает.

Роман сотворил крестное знамение, – земной поклон, псалтирь под коленки, да и начал, преклоненный, отбивать поклоны с жаром неугасимым, почти в исступлении.

А возгласы, архиерея и сослужавших ему, подходили к концу, после них – читать псалтирь.

Опустилась чтица на колени рядом с псаломщиком, шепчет ему, чтобы отдал псалтирь. А он в ответ:

– Поцелуй меня после всенощной – отдам!

Словно зарница метнулась перед лицом монашенки – загорелась гневным, стыдливым огнем. А Роман бьет поклоны, стоя прочно на кожаной книжке, и не угнаться за ним, машет спиной своей, точно цепом на току. И отмахивает рядом с ним монашенка поклон за поклоном и шипит ему на ухо:

– Погубишь ты меня, охальник, читать надо, беспутный!..

И вот уж тянет кто-то чтицу за рясу, и тихо в церкви, и слышит она в тишине страшный, без слов понятный шепот. И таким же страшным шепотом, опалила она затылок псаломщика:



– Ну, хорошо, хорошо! Давай скорей!..

И после всенощной, в духоте и тьме узкой ризницы, поцеловал Роман сестру во Христе в мясистые ее губы, поцеловал не раз и не дважды.

А придя домой, хвастал молодой жене своей, хохоча и кашляя от табачного дыму:

– Крещусь, бью лбом об пол и молюсь: подай, господи, чтобы согласилась, подай, господи, чтобы согласилась!.. В жизни так не молился!..

Слушает Анна Тимофевна веселого своего мужа, развеселейшего соборного псаломщика Романа Иаковлева, смотрит на озорника сквозь горячую завесу слезную, молчит.

## Глава вторая

Мчит зимой выюга толпы острых, как иглы, снежинок, рвет и мечет выюга, потешается. На соборной площади пустынно, водит только ветер хоровод снежных саванов. Лабазы закрыты крепко-накрепко, понавешены на двери пузатые замки железные, точно пудовые гири. Чище снега собор возвышается, горят на лазури куполов звезды ясные.

Холодно.

Через старое зеленое оконце глядит Анна Тимофевна на пустынную площадь, глядит широкими желтыми глазами на снежные воронки, на замки лабазные, на звезды куполов золоченые, и в желтых глазах ее раскрыт испуг.

Поджидает она мужа – ушел он с утра в собор к обедне, – уж смеркается, а его все нет. И не по себе Анне Тимофевне, потому что плохой это знак, когда поздно возвращался Роман Иаковлев.

Весел он бывал лишь с похмелья, а когда напивался – свирепел и безобразил. Напивался же всегда к вечеру, приходил тогда домой ночью и дебоширил.

Глядит через оконце на площадь Анна Тимофевна, и мерещится ей в снежных воронках вихрастая голова мужа, и усы его колкие, как щетина, и кадык острый на шее его, словно челнок в швейной машинке, взад и вперед шныряет. Скалит зубы свои пожелтелые Роман Иаковлев, заливается сме-

хом, а губы точно шепчут:

– Погоди, я тебе ужо...

Раскрыт в глазах Анны Тимофевны испуг, жутко ей от носящейся в снежных саванах головы вихрастой, жутко ей от того, что готовилась она к весне, на третий год, замужества, впервые стать матерью.

После вечерни, из густой зимней тьмы, овеванная выюгой морозной, явилась Матвевна – соборная просвирня, женщина мягкая, сердобольная.

– Твоего-то сокровища, девынька, опять в церкви не было. Вожжа, поди, под хвост попала...

Сидели в кухне за шипучим самоварчиком, гуторили отогретыми чайком голосами, любовно промывали всем родным и знакомым косточки. Научала мать-просвирня молодую псаломщицу приметам разным, гаданиям, уговаривала подменить мужу обручальное кольцо золотое – кованым железным, позолоченным: сразу станет благоверный тише воды ниже травы. Уминала мягким ртом жвачку тыквенных каленых семечек, на бубновую даму раскладывала тридцать два листика:

– Неизбежный у тебя, девынька, случай жизни выходит... Интерес полный в крестях... Крести кругом, одни крести...

Звенят в трубе выюшки железные, ломится в печку выюга студеная, нагоняет страх на Анну Тимофевну:

– А что же, Матвевна, крести означать могут?

Растопляет мать-просвирня на лице своем улыбку, в пу-

стом мягком рту спрятаны у просвирни губы, говорит она острой бородой да носом, – не губами:

– Крести-то, девынька? Да крестинам быть – не миновать, милынька!..

И, словно только что скатился с гладких плеч пуховой платок на колени, прикрывает себя хозяйюшка торопливо, точно зябко ей.

Лукаво ловит выцветший глазок просвирни потупленный взор Анны Тимофевны:

– Ай, девынька, не мужнина жена? Пора, пора чай!..

– Страшно, – протягивает к старухе белую руку Анна Тимофевна.

– И, девынька! Перевяжем мизинец ниточкой суровой – глазом не моргнешь, как все кончится. А уж бабка-то я, повитуха-то!..

– Не того боюсь, – шепчет Анна Тимофевна, да вдруг в тоске жаркой руками всплеснула и голову тяжелым камнем на колени гостьи своей уронила, рыдаючи. И будто придушил ее кто – рвутся из сердца самого слова беспамятные:

– Доносить бы только... доносить!..

Перебирает мать-просвирня пальцами-коротышками спутанные волосы Анны Тимофевны, гладит мягкой, как просфора, рукою ее голову, а голова – пышет пылем, и слезы – словно угли.

– Наша доля изначально такая. Мой-то отец дьякон, – упокой его душу, господи, – на что был смирен, – сидит, бывало,

как безрукий. А поест сладко, да выпьет – то тебя за косу, то тебя в бок. Откуда руки-ноги возьмутся – скачет, козлу подобно! Так уж и знала: серединка сыта – края играют...

Хорошо Анне Тимофевне с просвирнею, даже в дрему клонит и выюшки в трубе как будто звенеть перестали.

А не успела она, на мороз выскочив, за гостьей калитку запереть, как простонали мерзлые ворота от ударов яростных, и закрутила выюга хриплый голос хозяина:

– Гря-дет в полу-у-у-унощи!..

Кинулась Анна Тимофевна с крыльца назад к калитке, подхватила под руку мужа, а он перекачивается через сугробы – сам, как сугроб – весь в снегу, оледяненный, жесткий. А у жаркого шестка, не поддаваясь торопливым рукам жены и следя расписными валенками по полу, не водой становился снежный сугроб, а водкой – завоняла кухня трактиром с напитками. И вязло в спиртной вони охрипшее лопотанье:

– Недостоин же паки его же обрящет унывающе!.. Пойми, ты, недостойна паки!.. Говори, отвечай мужу, почему унывающе? Бди, бди, говорю тебе!..

Вот-вот подавится Роман Яковлев кадыком своим, – глотает слюни после каждого слова, но не переглотать всех – брызжет мягкий рот, как дырявый желоб в оттепель.

Рассыпал на столе вяземские пряники – в пакете принес от купца знакомого – водит волосатой рукой по липким сладостям, угощает:

– Почему не ешь? Ешь, говорю тебе, лопай! Я для тебя

старался: три фунта сожрал – три фунта выпорил. На спор жрал, вот! Может, ради тебя сподобиться мог, а ты не ешь?..

Рыжий весь Роман, веснушчатый, мохны торчат, оцетинились, похоже лицо его на грудку пряников вяземских – пятасто-желтое, клейкое, а в голосе нет-нет прозвенит что-то, как выюшка, в трубе дребезжащая.

– Лопай, а не то выгоню как есть за ворота!..

Тихая сидит против мужа Анна Тимофевна, в белой руке дрожит, рассыпается колода в тридцать два листика, слышится ей голос просвири:

– Крести кругом, одни крести...

И чуть внятно губами белыми шепчет, а то просит взглядом глаз одних испуганных:

– Ромочка, ты бы лег...

Торопится выюга завалить до рассвета снеговыми горами крыльца да подворотни, кряхтят, сопят на морозе тесовые лачуги, торкаются ставни в мерзлые оконца, будто путники, бураном настигнутые, о ночлеге молят. И как ни хоронись от крещенских ветров заречных, как ни затыкай щели да трещины паклей пухлою – выдует за ночь тепло горничное, скует стекла ледяными узорами.

Зябко в комнатах соборного псаломщика, от пурги крещенской зябко, да от хозяина, как пурга буйного.

Не успела Анна Тимофевна в постели отогреться, как сорвал с нее Роман одеяло, завопил оголтело, неистово:

– Под одеялом слезу точить будешь? На мужа беду наго-

варивать?

Кулак у Романа волосатый, в узлах весь, словно корневище, – вот-вот опустится на Анну Тимофевну. Сжалась она вся, собралась под белой рубашкою, руками живот заслоняет, а руки дрожат, и крик отчаянный тоже дрожит пронзительно:

– Ребенок, ребенок!

– Девчонку родить собираешься? Говори, девчонку? Мне надо род свой продолжить, древо свое родовое!.. А ты норовишь назло... У меня дед поп, отец – поп, у меня весь род – духовенство! А ты кто? Я тебя в люди вывел, в сословие! А ты что?

И так за полночь.

А наутро утихомирилась пурга заречная, а с ней Роман. Куда озорство девалось – виновато круг жены увивается, развеселейшие говорит ей истории, из кожи лезет, рассмешить Анну Тимофевну.

– Приходит мне, Аночка, на ум: сделать бы такую комнату, все стены зеркальные, и потолок тоже, и пол. А потом пустить бы в эту комнату бегемота – посмотреть, что стал бы делать он?..

Насказав ворох историй любопытнейших, поев кислой капусты и расцеловав Аночку, забрал судок с вареной картошкой, да с ним в собор к обедне: пожевать там перед апостолом.

В церкви с левого клироса через северные врата видно,

как молится у жертвенника протопоп соборный, отмахивает головой – кругляком лысым поклоны короткие. На лысине у протопопы играет зайчик, дразнит развеселого псаломщика.

Свернул Роман Иаковлев из клочка бумаги трубочку, нажевал вареной картошки, приладил трубочку ко рту, закрыл ладонью, чтобы не видели, кому не следует. Прицелился протопопу в лысину, дунул в трубочку. Полетел через ворота северные комочек картошки жеваной протопресвитеру на голову.

Весело на клиросе, потешно...

А потом в гостях у подрядчика штукатурного расписывал Роман Иаковлев, как щупал ладонью протопоп свою лысину, задирает голову к потолку расписанному, подвигался у жертвенника то вправо, то влево, а после обедни говорил псаломщику:

– Развелась в алтаре у нас сырость смертная: в литургию окапала лысину мою плевотина непотребная!..

Гогочут штукатурки нутряным гоготом, любо тешит их псаломщик соборный развеселейший.

В тихих горницах поджидает мужа Анна Тимофевна.



## Глава третья

После первой оттепели заячье мясо невкусно, а птицу об эту пору перестают бить: ждут кладки. Много значит и то, что не переводились в городе постники да говельщики, так что если и бывал еще по базарным дням привоз какой, так самый пустяшный. Базар не базар, – уныние. Люди бродят, словно спросонья, торгуются больше по привычке, обманывают без радости, все только охают, да поминают господне имя, отрывивая подсолнечным маслом.

Тоска.

И отчего нет, отчего нет такой тоски во всем мире, как тоска российская, великопостная, отчего нет такой тоски по всей земле, как тоска уездного города?

Прикроют город сумерки пухлою шалью, твякнет на звоннице альтоголосый колокол, сползет его надтреснутый зов вниз, на площадь. И вот уж по дворам, амбарам, в сенях и душных комнатах постлался клейкий звон, задребезжал разбито в каждой щелке, дрожит, печалится, тоскует.

Весь пост зовет альтоголосый. Притянут язык его за веревку к доске; доска одним концом прикована к половине, другим подвешена к языку; на доску ставит звонарь ногу, звонит ногой. Раздельно твякает надтреснутый колокол, нехотя сосут его альт сонливые сумерки. И весь пост, весь пост молчит бездонный гул больших колоколов.

Тоска.

Обмотались тряпьем старухи, скрючились от холода, перед папертью взгромоздились на чугушки да квашни. В чугушках да квашнях – угольки. Греются старухи на угольках, кутаются в ветоши, поджидают говельщиц продать говельщицам сушек на раздачу нищим.

Ползут по снежной площади говельщицы, посмотришь с звонницы – черные скуфейки, – взбираются на паперть. Во вратах храмовых прорезана для говельщиц щелка-лазейка, как пчелиный леток.

Тявкает альтоголосый колокол, отдельно, надорвано, ползет его зов вниз, на площадь, сосут его алыт сонливые сушки.

Тоска.

У косопузого дома – выпятил дом первый этаж, точно беременный, – подле входа в пивную стоят два парня. В умятый снег вросли тупоносые, круглые валенки, неподвижны парни, молчаливы. Поводят оба по сторонам глазами, но мутно кругом, не на чем остановить взора.

Из-за угла мохнатым турманом вылетает пьяный. Стоит раскорякой минуту, другую. Потом летит направо, к парням, выпясывает путанный танец на проторенной дорожке, вязнет в сугробы.

Один парень другому:

– Ты что уперся?

Тот цедит сквозь неразжатые зубы:

– Да так. Думаю: садануть яво, што ль, по шее? – и лениво волочит свой взор за пьяным. Тогда другой парень щурит глаза на затылок пьяного, примеривается, говорит, подумав:

– Не стоит... черт с ним!..

Пьяный ныряет в переулок, парни молчат, ищут в сумеречной мути, на чем остановить взор.

Тоска.

В косопузом доме, в пивном заведении сидел Роман Иаковлев и, глотая соленый горох, изрыгал:

– Дерево рода моего прочно! Понял? Можно сказать – гене-о-ло-гия! Вот. Знаешь, что такое генеология? У меня дед, Роман – поп, алкоголик. Отец, Роман – поп, алкоголик. Я теперь – тоже Роман, тоже алкоголик. А что я не поп, так какое тебе дело?

– Г-гы-ы-ы!.. Не можешь!

– Я-то? Да мне до рясы руку протянуть! У меня в епархии...

– Не хочешь, поди?

– И не хочу! Тебе все просто, потому что ты – дурак. И ты тоже.

– Ггы-ы-ы!..

– А я имею философию и в состоянии размышлять...

– Ну-ка, заверни!

– С посвящением в сан я переживу как бы метаморфозу. Знаешь, что это? Может, совсем другим человеком стану. Может, меня тогда в воду опустишь, а я и разойдусь... Как

соль...

– Го-о-го! Го-го-о-о!.. А как же все попы моются, и ничего?

– А ты видал? Со всеми мылся?

– Го-го-оо!

Только и посмеяться великим постом, что в заведении, за одним столом с Романом Романычем. Кабы не он – с кем отвести душу, как размотать вязлую скуку, чем отбиться от душной хватки альтоголосого зова? Все озорники, все охальники дружат с Романом.

А у кого есть силы, иль кто гнева божьего страшится – те стиснув зубы, закусив язык, ждут красного звона.

Зато, когда сойдут снега и жарким ножом вспорет солнце ледяной живот реки, окунется город в безднѳ радостей, распояшутся говельщики, запляшут люди под перезвоны и песни.

После Красной штукатуры отходят по столицам и губерниям. После Красной печет небо полымем, и в лабазах начинают сучить пеньковые, теревить канат и снасти. После Красной – благословясь, за работу.

А на Красной, на святой... эх, дожить бы до нее развеселому Роману Иаковлеву! Потоптать бы пьяными ногами расцвеченную яичную скорлупу – раскидано ее по улицам, как цветов в поле, – походить с крестом и святой водой с одного крыльца на другое, поприсесть бы ко всем купеческим столам, попригубить всех наливочек да настоечек!..

Шевелят кудластые штукатуры веселые веревки на колокольнях, точно от конского бега в азарт вошли – дразнят коней, рвут возжи. Языки колокольные заплелись, перепутались, рушится трезвон на пьяный город, бухает, вопит до самого неба. А небо разморилось от бесовской земной испарины, и солнце переваливается на нем, как на луговине.

Пьяно.

Эх, дожить бы до Красной Роману Иаковлеву!

Но сосут густые сумерки альтоголосый зов, и растянулись говельщицы черными скуфейками по заснеженной площади, увязая в сугробах, как в скуке, и бездонна тоска.

Пить, пить, пить от этой тоски!

Шла Крестопоклонная, когда вернулась домой Анна Тимофевна поздно, часу в десятом вечера, с именинного пирога от соседей. Была она на сносях и все, что делала, делала округло, и ходила мягко, точно под каждый ее шаг стлался ковер.

Скинула с себя шубейку – «сак-пальто» звала шубейку мать-просвирня, – отворила дверь в большую комнату, ступила тихо через порог. И тут же, словно защищаясь, выбросила перед собой руки, откинулась на косяк.

В середине комнаты на стуле сидел Роман Иаковлев, голый, взъерошенный, с выпяченными глазами, весь в узлах синих жил, в комьях рыжих своих волос. Погрозил Анне Тимофевне пальцем, предупредил:

– Тш-ш-ш!

Потом внятным шепотом:

– Должен прийти профессор, осмотреть меня: развелись на мне в огромном числе козявки, все такая мелочь, меньше блох, ногтем не подхватишь...

Остановился, вдруг ударил себя по голове и протянул обрadowанно:

– Во-он что! Профессор обещал приехать в десять, а на часах половина...

Вскочил, подбежал к стенным часам, перевел стрелку. В жестяном ящике открылась дверца, из нее высунулось птичье чучело, закуковало пружинным голосом, нырнуло назад в ящик.

Роман Иаковлев подскочил к жене, прижался к ней в холодной дрожи и, звякая зубами, брызжа слюной, зашептал:

– Видишь, сколько их? Пока били часы, они сыпались через дверку на пол. Теперь разбежались. Вот попрячутся по щелкам! Запорошат все щелки! Как замазка! Профессор придет – не откроешь двери. Надо прочистить дверь. Я сейчас возьму ножик, прочищу. А с меня так и сыплются, видишь? Мелочь какая...

Он бросился в кухню, зазвенел посудой, принялся скоблить чем-то притолоку. Бормотал несвязно, отряхивал быстрыми руками волосатое тело.

Анна Тимофеевна занесла ногу на порог кухни, шевельнула белыми губами, но нога вдруг вывернулась от неожиданной боли, губы растянулись, точно обожженные. И чужим

провопила она воплем:

– Ро-о-о!..

Опять от тупой тяжести, потянувшей все тело к земле, неожиданно, шаг за шагом, ступила не к той двери, куда хотела, а к спальне, к постели. И не легла на постель, а вцепилась внезапно заострившимися ногтями в одеяло, в матрац, в железную раму кровати, так, что окровенились пальцы.

– Ро-о-о!..

Роман Иаковлев, голый, волосатый, бормоча несвязное, ходил по комнатам, совал нос в скважинки и щелки косяков, порогов, выколупливал ржавым ножом без ручки – им кололи угли – сор да паутину. Переводил на часах стрелки, ожидал профессора.

Дошел до спальни, просунул голову в дверь, увидел звериные корчи человека, помолчал. Анна Тимофеевна закусила подушку, изломилась, не глядела, не слушала.

Муж сказал:

– Аночка, ты что кричишь? Придет профессор, ничего за шумом не поймет...

Прикрыл дверь, пошел по стенкам, косякам, порогам выколупывать ножом сор да паутину, стряхивать с волосатого тела незримую нечисть.

За шпалерами шуршали вспугнутые прусаки, таились за плинтусом и карнизами, шевелили усами, думали. По углам пряталась ночная серь. На столе, под бумажным букетом, умирала лампа.

## Глава четвертая

– Что ж это ты, непутевый, на пост-то глядя – до зеленого змия, а?

Подтянулся у купца живот, а все еще ходуном ходит, до того этот псалмопевец хохотен.

Посуляет ломким рыком Роман Иаковлев:

– Не на такого напали! У меня натура – во! Погляди, что на святой разделаю...

В ворохах сатиновых да ватных, пуховых да полотняных – не поскупились на зубок люди добрые – не приметно лоснится лиловый лик нового человека. Морщинисто, склизло, пятнасто лицо, сини губы, безбров мятый лоб. Но чуден свет, измученный лиловым лицом: целомудренна, прекрасна Анна Тимофевна.

Наклонилась она над зыбкой, слушает воркотню Матвевны (возня просвирне с пеленками да повивальниками), слышит только дыхание в зыбке.

И каждый вечер так.

И каждый вечер в памяти загораются теплый шепот и ровный взор, примятые вихры, поясневшее дыханье. Никогда не было, никогда так сладостно!

Лежали они рядом, и он поправлялся, и она. И вливала в себя тепло его шепота:

– Ты меня прости, я ведь так, из озорства. Пускай девчон-



ка, девочка... А пить я брошу. Я могу...

Искал сухими пальцами ее голову, играл косою.

И тогда, и каждый вечер потом, только загоралась в памяти его ласка, огненные к глазам подкатывались иглы, и Анна Тимофевна плакала.

Наклонясь над пуховым, ватным ворохом, слушала, как воркует Матвевна, слышала, как дышит дитя.

Увязали в бездорожье последние дни поста, растопляло солнце его тоску, сулило обернуть ее в радость.

Страстную пятницу украсилась кухня цветистой пестрядью сахарных роз да херувимов, заалели на окнах яйца, раскурчавилась в тарелках чечевица, облил изумрудом толстодонные бутылки веселый овес. Терла мать просвирня сквозь решето масло: добывала кудрявую шерсть самодельному масленому агнцу. Под пуховыми руками просвирни вышел агнец похожим на многих домашних и диких зверей, но шерсти был пышной и вида кроткого. Из-под повойничка у Матвевны бегут в перегонки ручейки пота, а она только и знай поворачивается, только и знай приговаривает:

– А ты, бабынька, не нутужься, все успеется, ничего не минется!

Анна Тимофевна подбежит к зыбке, послушает, как спит ребенок, да опять к шестку, опять за ухваты – поворачивать в печке куличи да бабы.

Вынула печенья в сумерки, смотрят обе – старая и молодая – не нарадуются: высоченные вышли куличи, да ровные,

да статные.

И только их на сундуке по подушкам разложили и чистыми полотенцами, перекрестив, закутали (надо куличам после жара отдохнуть дать), как загремела, заохала под кулаками сенная дверь.

Анна Тимофевна кинулась к зыбке, мать просвирня – впускать хозяина.

А хозяин буйно вспенил тишину горниц, через стулья, вполоча половики прямо к спальне. Торкнулся – не пускает крючок. Взопил:

– От мужа запирается? Доносничать? Отвечай, кто протопопу про озорство наябедничал? Кто благочинному жалобу подал? А? Пусти, говорю, стерва!..

И всем непокорным телом с рыком и скрежетом упал на тонкую дверь. И когда, присвистнув, сорвался тонкий крючок, из тихой зыбки неожиданный вылетел крик и задрожал кисейный полог, как водяная гладь от ветра.

От крика ль этого, оттого ли, что схватила Анна Тимофевна зыбку, точно собравшись бежать с ней, будто протрезвел Роман Иаковлев и, размякшим, податливым, вытолкала его Матвевна в кухню.

А зыбка дрожала. Корчилось в ней маленькое посиневшее тельце, тужилось выскочить из пеленок, то сжимались в жесткий кулачок коротышки-пальцы, то вдруг крючились и заострялись. Захлебнулся ребенок, силится протолкнуть что-то в натужную грудь, комом стоит в горле и душит, как

жесткая кость, душный воздух.

Не знает, куда метнуться Анна Тимофеевна. И что бы делать ей, за что схватиться, кабы не расторопная, проворная Матвеевна?

Скороговоркой уговаривает старая:

– Ножницы, где у тебя ножницы, девынька? Давай сюда, в зыбку их сейчас, первое это дело – ножницы в зыбку!

Юркнула в кухню, воротилась с головным своим черным платком, накинула его на люльку, под перинку сунула закройные ножницы, а сама без устали распоряжается:

– Свечки неси подвечечные! Да куда бросилась-то? Вон в образах, в углу, за стеклом! Поставь по сторонам, принеси запалки!..

Вздрагивает под черным гробовым покровом люлька, безнадежно бьется в ней невидное тельце, и быстрое шепчет над платком старая. Большие стоят над люлькой глаза, окаменелые глаза матери, и не зажигаются, гаснут свечи, и страшное выминает из горла слово Анна Тимофеевна:

– Задохнется, задохнется! – словно задохнулась сама.

– Тш-ш-ш! Грех какой! – и опять неувовимо быстро шепчет Матвеевна святое свое колдовство.

Шепот стелется по платку – черному, как гробовой покров, – рассыпается по-мышинному в углах, за сундуками, весело топят огненные языки желтый воск – холодный и мертвый с венчанья.

Выбиваются из-под платка багровые жесткие кулачонки,

а из кухни, по скученным половикам и намытым половицам ползет глубокий, долгий храп развеселейшего Романа Иаковлева.

– Скоро ли, господи?

– Тш-ш-ш! Не сердчай ты Владычицу-Богородицу! Сиди смирно! Утихнет!

И когда утих – за полночь было – научала мать просвирня уму-разуму:

– Вуаль подвенечная тоже хорошо. А если свечей нет – тогда ладану покурить, очень помогает. Сказывают, есть такая гора, Плешивая гора, так на ней корень такой растет, из него настой добывают. И только на дите цвет накатится, поят этим настоем. Где эта гора – точно никто не знает, говорят в – Сибири, на каторге. Но только этого настоя не переносит он, родимец-то, пуще ножниц боится...

Не страшно Анне Тимофевне с просвирней, хорошо, даже в дрему клонит.

Так за разговором и уснула.

А как забрезжило, накормила дочь, вышла посмотреть на мужа.

Стоит перед ней супруг, как всегда с похмелья, – застенчивый, неловко улыбается, и шутит, и словно прощенья просит:

– Пекла ты, Аночка, куличи, а вышли блины, – на сундук головой кивает.

Всплеснула Анна Тимофевна руками: примяты подушки,

комком полотенца, сплюснуты в лепешки куличи да бабы – спал на куличах Роман Иаковлев.

## Глава пятая

Огорожен сад высокой стеною из камня. Идти мимо этой стены – слышать разноголосые вскрики, рассыпчатый девичий смех. Звонко и звучно за высокой стеною из камня. Но кто бывал там?

Разве семинарист в долгополом рыжем сюртуке, зажав под локтем учебник риторики, прокрадется сырыми коридорами какого-нибудь служебного корпуса и доберется чуть не до самой глухой аллеи.

На губах у ритора готовый ответ:

– Пришел к сестре на свиданье.

А у самого дрожат коленки, и легко и больно торкается в груди семинарское сердце.

Под дождем лукавых взглядов, в огне цветов и красок, сквозь шелест камлота, шерсти, шелка, в сплошном мельканье пелеринок, бантов, кос и завитушек пробираться дальше, дальше по хрустящему песку дорожек в гущу сада. За каждым деревом – шепот, за каждым поворотом дорожки – сдавленный смех, и неуловимые, как искры, загораются и гаснут карие, синие, черные глаза.

– Вы как сюда попали?

– Сестра... к сестре... с сестрой свидание... четвертого класса. Вознесенская...

– Извольте пожаловать в приемную!

У классной дамы губы в ниточку, челочка на лбу нахотилась, дергается дама, негодует.

Но приятно видеть кругом досаду, и сожаление, и жалость и сладко слышать готовые крики, заплывавшие по корявым веткам:

– Вознесенская!

– Вознесенская из четвертого!

– Брат пришел, Вознесенская!..

Огорожен сад высокой стеною из камня. По хрустящему песку дорожек шелесты, шепоты, вздохи, шушуканье. По расколотым урожаем яблоням молодые вскрики, девичий смех. Сторожат пристойность тонкогубые классные дамы.

Перед садом – зализанный дождями многооконный дом. В нем перевиты чугунные лестницы, запутаны холодные, как склеп, коридоры, перемешаны строгие классы. Спальни прячут за чинной белизною веселые тайны, чопорны диваны, мертвы пыльные портьеры приемных.

Многооконный дом обернул лицо свое на улицу, где ползает конка, возят с пристаней лес, травят мальчишки долгошерстных собак. Темным золотом славянской вязи вещает дом нелюдной улице:

– Губернское Епархиальное Училище.

Над вывеской татарской тюбетейкой нахлобучен куполок с чуть видным, будто увядшим, крестом.

За курчавой зеленою сада вырос другой сад, белый, подсиненный, полотняный: по длинным веревкам нанизаны ру-

кавчики, пелеринки, фартуки, лифы и юбки. Как по яблонным, грушевым рядам, ходят меж белья бабы с корзинами, засучив рукава, щупают, шевелят полотнища, собирают, что посуше.

Не зная Anne Тимофевне устали, иначе не переделаешь работы и за полночь. Ходит и она вместе с прачками по снеговым рядам полотняного сада, да нет-нет выглянет из-за белых простынь, остановится посмотреть на мельканье бантов и пелеринок, послушать девичьи смешки и вздохи.

И встает в памяти другой сад – облезлый, бесплодный, сухой. Такие же пелеринки и то зеленые, то кирпичные камлотовые платья, толстокожие чеботы на ногах, зализанные на затылки липкие волосы. У Нюрки в тугую, как серп, косичку вплетена голубая муаровая ленточка – подарила начальница на евангельскую закладку, а потом сжалась, велела завязывать волосы. И милое, самое милое, что запомнилось с детства, – муаровая ленточка. И еще самое горькое: как Василь Василич – учитель пения – на своих уроках бил по Нюркиной голове стальным камертоном и, поднеся его к уху, тоненько верещал –

до  
ля  
фа.

Девчонки пискливую затягивали песню, а Нюрка никак не могла попасть в тон и плакала. За это и не любил ее Василь



Василич. Муаровая ленточка и

до  
ля  
фа.

Вся жизнь в убежище.

И только под конец, перед тем, как пойти в люди, помнит-ся, дятлом долбила начальница:

– Не забывай, что ты сирота! Что ты сирота! Сирота!

И, долбанув холодным носом в Нюркину щеку, наделила царским портретом.

А то, что было в людях, в чулочной мастерской Энгеля, в чулане, с царским портретом на стенке и ящиками вместо кровати, все, что там было, заслонилося единственной на всю жизнь прекрасной, нестерпимой жутью.

Никто на свете не знает, не знает Анна Тимофевна, взаправду ль опалила ее нестерпимая жуть. В себе ль была она тогда, под Крещение, когда в чулан ее, неслышной черной ночью, вошел студент путейский Антон Иваныч Энгель.

Или было то явью?

Ведь поспешил же потом Антон Иваныч покинуть отеческий дом, и так и не дал старик Энгель повидаться Анне Тимофевне со своим сыном, путейским студентом.

Или было то сном?

Ведь ни слова не проронил тогда Антон Иваныч, ни тогда, ни после, ни одного слова.

Да и прежде, до черной этой, нестерпимой ночи, ни слова не сказал Антон Иванович Анне Тимофевне. И не помнит Анна Тимофевна, как началось, что переставало биться сердце всякий раз, как заслышит она шаги Антона Ивановича, будто ввинчивал он каблуки свои не в половицы, а прямо ей в грудь. И не помнит, как началось, — что не могла вскинуть на него желтых своих глаз, а всегда видела, как улыбался он.

Нет, не сном и не явью пришла единственная на всю жизнь нестерпимая жуть — пришла в гаданье.

Черной ночью, неслышною, жаркою ночью под Крещение, дрожащим коридором живых языков бежали свечи в зеркало. Сколько было их? Там, где последняя пара острых огней сливалась в одну точку, в глубине коридора, далеко за зеркалом, там был уже не чулан и не лицо гадалыщицы, и не глаза ее желтые, стоячие, — а пустая, бескрайняя синь. Оттуда, из этой сини, должен был прийти он, там должно было явиться его лицо. И от страшной тайны, дрожавшей смутно в конце огненного коридора, слышно было, как колотилось сердце. И нельзя было сдержать вспугнутого дыхания, и золотые языки свечек метались, как привязанные на цепь звери. И когда не стало сил от страха и захотелось перекреститься, а не подымалась рука — нельзя было, потому что натальный эмалевый крест спрятанный лежал под подушкой, — вот тогда разорвалась в глубине зеркала бескрайняя синь, и пришло чудо. Разорвалась синь, и по всему золотому коридору, из самой глубины, сминая языки огней, прямо навстречу Ан-

не Тимофевне пронеслось лицо, живое лицо человека. И тут же сильные, сухие руки спутали сзади расплетенные косы, обхватили сзади шею, отогнули назад, смяли голову. И вот уж не в зеркале живое лицо, а над самой головою Анны Тимофевны, близко, близко, и нет уж ни свечей, ни зеркала, а только одни губы Антона Ивановича, и палят они и тушат.

Вскрикнула Анна Тимофевна.

И когда очнулась она на кровати, раскиданная, и, набросив на грудь крест, начала молиться, тихо ступала святочная ночь, ровно таяли свечи.

На всю жизнь нестерпимой жутью Крещенской ночи заслонилось все, что было в людях, в чулочной мастерской Ангеля, отца путейского студента.

Будят шепоты и шорохи хрустящих дорожек уснувшую старь, живут потухшие камни.

Но скорей бы оторваться Анне Тимофевне от прошлого, бежать в кладовую, прачечную, иль к портнихам: не переделать за день всех дел, — много дел у кастелянши епархиального училища.

А между дел сколько раз сбегает по чугунной витой лестнице Анна Тимофевна к себе в комнату, высоко, под самый чердак? Сколько раз прижмет к груди свою Оленьку?

Сладко слышать, как мягким ртом мнет ребенок налитую грудь. Но жесткие вьются на его темени волосы. Медленен, неясен взгляд синих глаз.

И не прогнать, не прогнать из головы быльях последних

дней развеселейшего соборного псаломщика Романа Иаковлева.

## Глава шестая

Близко к звездам Анна Тимофевна. Кажется, протяни руку – лизнет зеленый звездный жар дрожащие, изрезанные пальцы.

В полночь видно, как плывет небо. Плывет строго и свято, и смотреть на него – как на икону отшельника и угодника – и страшно и не оторваться.

В ночь, когда похоронила мужа, каменной стояла Анна Тимофевна на крыльце, смотрела в звезды. Двери были настежь, крался из комнат в весеннюю стужу сладкий дух покойника и афонского ладана. Юркой мышью шныряла в доме по углам мать покойника, перебирала, рыла тряпье.

Шамкала, подбежав неслышно к снохе:

– Погляди-ка, накидочка-то, песочная, с отделкой стеклярусной. Стеклярус-то весь осыпался, никуда накидочка, выкинуть! А я вдова духовная, одинокая. Дай мне!

Исчезала. Нюхала сундуки, кладовочки, комоды, совала в узлы сыновье наследство, под самым ухом Анны Тимофевны пугала тишь хлопотливым шепотком:

– Смотри, в какой ходит свекровь юбке, ползет юбка, вот-вот спадет, срам! Положу себе шевиотовую твою, на тебе эта совсем хорошая, куда тебе, вдовой, столько барахла всякого?

Подымала быстро подол своей юбки, без передышки шамкала:

– Обносила, оббила, бедность-то! А у тебя в комод – аршин, видно, пять бобрика.

Подымала юбку снохе:

– На этой бобрик-то совсем целый, да и кашемир ввек не сносить. Пойду, положу себе бобрик.

Смотрела в звезды Анна Тимофевна, не слышала свекровью суету. Стыла в ледяной памяти мужняя смерть.

Мужняя смерть опрокинулась на Анну Тимофевну вместе с пьяным звоном Воскресенья, с гульбой штукатуров, с пестрядью бумажных да сахарных цветов. С вечера первого дня без устали носилась псаломщица по друзьям Романа да приятелям. Рыгали в лицо ей праздничным перегаром, потешались при одном развеселейшем имени, провожая просто-волосую, испугнутую, кричали вслед:

– Отыщется – посылай к нам! Так и скажи, что, мол, непременно, по-христианскому, проздравиться!..

Но как ушел Роман Иаковлев из дому, опочив на пасхальных куличах, так и канул его след, точно в прорву.

На второй день Красной, после вещей молчаливой ночи, с утра кинулась Анна Тимофевна в часть. Квартальный, спросонья, усомнился.

– Сама-то, голубица, черезва<sup>1</sup> ли?

Потом отпер безумной клоповник.

Мало света пропускало в клоповник оконце – полукруглое, как в конюшне. За полукруглым, как в конюшне, окон-

---

<sup>1</sup> Черезвый – «трезвый», нижегор. (Даль)

цем, по небу и по земле шла пасха. Колокольным встречали пасху люди звоном, устилали пасхе путь расцвеченным ковром яичной скорлупы, в ликование святили люди имя нового Ерусалима. Стеклянными харями плавали люди в блевотине клоповника, куда смотрела пасха через полукруглое, как в конюшне, оконце.

Заглядывала Анна Тимофевна в помертвелые лица скорчившихся трупов. Шагала через тела, хлюпала в мерзкой хляби потекших по полу луж, задыхалась сивушной вонью.

Тут, в темном углу, нащупала крепкую, как корневище, руку в жестких, проволочных волосах. Потянула, что было сил. На спине пьяного расцепились объятия, упали по бокам его и хлюпнули в черную сырь мягкие руки. Лежал пьяный ничком, лицом в угол, и нужно было повернуть его к свету, чтоб увидеть лицо. Схватила за голову – казалось, задела пальцем острый кадык – казалось, жестки волосы страшной, изведенной жесткостью – поволокла мягкий, тяжелый мешок к оконцу. Грузно скатился пьяный с человека, который обнимал его. С бабы – не увидела – догадалась Анна Тимофевна. И тут же в пятне холодного света различила в руках своих чужую черноволосую голову и бросила ее на пол.

Когда вырвалась из клоповника, в ознобе от чужих рук, чужих воротников, чужих тел, повисла за спиной псаломщицы чья-то сонная ругань.

И светло было, что не здесь, не за конюшенным оконцем Ромочка, и не отпустила – еще мертвей вцепилась тоска: где

же, где?

— Может в приюте алкогольном? — присоветовал квартальный. — Которых без надежды, туды отвозят. Нынче, известно, пасха...

Чтобы укоротить путь, пробиралась Анна Тимофевна задами, проулками, оврагом. За оврагом лопались почки больничного сада, ластились на солнце жирные луговины. Пахло от оврага вкусной прелью весны. Подминалась глубоким ковром вязкая тропа. Излучинками да скачками баловливо вела она меж деревьев от беленой часовни-мертвецкой до больничного здания.

По тропе от больницы навстречу Анне Тимофевне двое похожих мужиков в парусиновых фартуках несли носилки.

На носилках, под парусиной, — как и фартуки, — в разводах желтых пятен, — голова, скрещенные руки, колени, носки длинных ступней — покойник.

Перекрестилась Анна Тимофевна, ступила с тропы в сторону — чвакнул под ногами мокрый дерн — спросила мужиков тихо:

— В приют алкогольный как пройти, добрые люди?

Тут мужик, что шел впереди, обернувшись, подставил под носилки коленку, взмахнул рукой, чтоб показать:

— Вон сейчас — видишь стену...

Да подымая руку, задел парусину. Отвернулся край покрова, обнажил вихрастую рыжую голову, лицо багровое в бледных веснушках, глаз, улыбавшийся вбок, на Анну Ти-



мофевну.

И тут же хмельной ударил с недалекой звонницы трезвон — точно по коленям хлестнули колокольные волны, — и, падая, вспомнила Анна Тимофевна с детства запавшее: кто преставился в светлое воскресенье — отпустятся грехи его. И подумала, что пора кормить Оленьку. И еще увидела вороньи гнезда черные, словно горшки, рассаженные по осиновым корягам под самым небом.

С того часа камнем лежало в груди сердце, камнем стало лицо, окаменели желтые глаза, кровяные жилки в глазах — трещины сухой гальки. В ледяной памяти стыла мужняя смерть, последняя с развеселейшим Романом встреча, последний его взгляд — как улыбнулся одним глазом из-под маранной парусины вбок на Анну Тимофевну. Потом закрыли ему глаза пятаками.

Шептались на отпеванье кумушки:

— Слезинки не выжала...

На кладбище ущипнула свекровь:

— Повопи хоть для виду, бессердечная!

И солнечным полымем не растопить камня: холодна осталась Анна Тимофевна, холодна до ночи, первой ночи Романа Иаковлева на погосте.

Оторвавшись от звезд, ушла Анна Тимофевна в сладкие покойничьим духом горницы.

Там ворочала, крутила узлы юркая, как мышь, старуха. Шамкала без передышки:

– Нынче все сутаж накладывают, да аграмантом украшают. Где взять духовной вдове аграмант? Пенсия – только-только кофею купить, а ходи в чем хочешь. Ты, поди, думаешь, вот приехала свекровь, обобрала? А по закону от сына все к матери переходит. Собирайся в губернию, я тебя устрою. А барахло да шелохвостье зачем тебе, вдовой?

Когда улеглась – на уздах, узлами прикрывшись, сама узелком – подсела Анна Тимофевна к Матвевне, ходившей любовно за Оленькой. Рассказала на ухо:

– Слушай, Матвевна, за какой грех наказал меня бог, отнял мужа? Как великой субботой ушел Ромочка, и узнала я, что не был он ни на часах, ни в литургию, а вечером прислали за ним читать деяния, стала я молиться. И не помню, сколько молилась, и чего просила, а очнулась от красного звона, на рассвете. Очнулась да только тут и поняла, что всю полунощницу, и утренью, и обедню промолилась на коленях. Так меня и подкосило!..

Рассказала, взглянула на Матвевну.

Сидит та, осыпает себя крестиками, шепчет одними губами:

– Прости ей вольные и невольные, господи милосердый, прости...

И вдруг полились из стоячих желтых глаз Анны Тимофевны слезы. И услышала она, как вытолкнуло сердце из груди ее камень и полохнуло по жилам живой жаркой кровью.

И еще сказала в ту ночь Анна Тимофевна:

– Кто меня теперь пожалеет? А Ромочка был добрый, душа у него боязненная. Господи!..

Как потоки апрельские, неслись слезы...

Вот теперь бы, на чердаке многооконного, умытого дождями дома, близко к звездам, перед лицом неба – строгого, как икона угодника, – вот теперь бы таких обильных слез.

Но нет слез.

## Глава седьмая

Бежала Анна Тимофеевна по делу – много дел у кастелянши епархиального училища. Бежала по крутому взвозу – тяжело подымался взвоз от речных пристаней кверху, в город, на пыльную улицу, где ползает конка. Посреди взвоза остановилась перевести дух – знойно было, – глянула вниз.

Груженные рогожными кулями, тянулись по взвозу телеги. Суставы одной желтоспинной змеи, извитой по дороге – подводы длинного обоза. И в каждом хомуте – покорная лошадиная шея в налитых, растянутых жилах. И глаза лошадиные красивы и добры, и от натуги ль, от обиды ль – катятся из глазниц по мордам, заползают в раздутые ноздри круглые стеклянные капли. У оглобелей возов маются, пособляют возницы: бьют по лошадиным животам кнутовищами, дубинами, вопят истошно на весь берег. Жилится каждый сустав желтоспинной взвитой по взвозу змеи, глушит змея немолчным воплем: надо обозу подняться в город.

Глянула Анна Тимофеевна, подумала:

«Притча».

Надо обозу подняться в город – надо прожить жизнь. Груженные кладью воза – годы. Не поднять такого воза – нельзя: бьет и гонит дубьем, поленьями, кнутовищем нужда. И не отличить одного года от другого: в натуге и в обиде каждый.

«Притча».

Удивилась Анна Тимофеевна, что пришла ей на ум притча, никогда не было этого прежде. Складная притча сложилась и такая скучная – не оторваться от покорных лошадиных морд, от извитой по тяжкому взвозу жизни.

И вдруг за плечами комнатный голосок:

– Прогуливаетесь?

Обернулась – кривит ей улыбочку эконожка из училища, в глазах у эконожки лукавые огоньки перебегают, как светляки в ночи – не поймать их.

– Недаром начальница мне говорит: что это кастеляншу никогда не дозовешься – все нету да нету...

Залепетала Анна Тимофеевна невнятно, да перебила эконожка, точно того и ждала:

– Вообще трудно вам оставаться. Дочка у вас совсем для благородного заведенья неподходящая. Воспитанницы пугаются. Долго ли до несчастья?

– Лечу я ее, к доктору вожу, доктор говорит...

– Какой уж тут доктор! Ну, мне некогда, у меня ведь не то что у других, не разгуляешься...

Повела бровью, ушла.

Спохватилась Анна Тимофеевна, побежала по взвозу в город, а у самой не выходит из головы притча. Все еще слышно ей, как тархтят по размытой мостовой тугие колесные шины, звонко царапают булыжный путь стертые подковы. Вздвигается обоз через силу по тяжкому взвозу, ползет по кривой, змеиной черте, и каждая подвода бьется под непосиль-

ной кладью.

Не счесть бы точно годы, прожитые под крышей много-оконного дома, если бы не росла на глазах дочь. Одинаковые, одинокие годы в обиде и натуге – лошадиные шеи в налитых растянутых жилах.

И опять негаданно, уже на пыльной улице, где ползает конка, прямо в лицо Анне Тимофевне падает голос. Не взглянув – по голосу – узнала: старик-учитель из приходской школы.

И этот (словно сговорились все) сразу об Оленьке, хоть и не в силах спрятать в затабаченной бороде своей страдания – смущен, торопится сунуть в нос понюшку табаку, мигает тонкими веками:

– Нет уж, думаю, прямо так и скажу, прямо и скажу, что вот, мол, Анна Тимофевна, вот, да... кх... кхе... вот. Тре-тева-дни опять то самое с ней в классе, за уроком, с Оленькой. Ну, думаю, дойдет до начальства, не может, прямо не может не дойти до начальства. Кроме прочего, у меня школа мужская, для мальчиков, и вдруг – девочка. Почему, спросят меня, девочка? Нет ответа, прямо никакого ответа. Пожалел, скажем, из сочувствия, скажем, взял девочку в мужскую школу для мальчиков. Глупый ответ, прямо глупый! А между тем с ней это самое, с Оленькой, на уроке. Мальчики в волнении, и шалят кроме всего. Ну, думаю, прямо так и скажу Анне Тимофевне – нельзя, не могу, прямо не могу. Возьмите, Анна Тимофевна, вашу дочку. Тяжело говорить

это вам, а только больше Оленьку не присылайте...

Пряча в бороду смущенье, пожал руку, шмыгнул за угол, там, точно кошка, принялся чихать. И опять спохватилась Анна Тимофевна, побежала домой.

С неделю тому будет, как заходил к кастелянше учитель из приходской школы, говорил, что трудно ему держать в училище больную девочку, и что надо ее сначала вылечить. Умолила Анна Тимофевна повременить. Ведь ходила же она, даром ходила – с верой в Оленькино исцеление ходила к доктору. И сказал же доктор, что надо надеяться. Всего с неделю тому, как поверила Анна Тимофевна доктору, и вот совсем на днях, на этих днях тряс перед ней затабаченной бородкой учитель и успокаивал:

– Ну, хорошо, подождем, бог даст, как-нибудь...

И вот отказался учить Оленьку, не велел присылать ее в школу. И опять с ней, опять с ней случилось несчастье. Это пройдет, может быть, это последний раз, это непременно пройдет. И доктор говорил, что это может повториться, что поправиться не легко, но не следует терять надежды. Доктор знает, что говорит, и он – известный доктор. Сколько больных вылечил он, и ему нельзя не верить.

Будто на крыльях несется Анна Тимофевна. Но не легко от крыльев. Давят они на плечи, мнут дыхание. С каждым взмахом крыльев этих насаждает сзади, толкает в спину тупым камнем неотступный страх.

За тяжелой парадной дверью многооконного дома, на сту-

пеньке чугунной лестницы схватил Анну Тимофевну за руку неказистый человечек: в черном сюртуке, галстух пышным бантом, обшлага белой рубахи вылезли до пальцев – с чужого плеча рубаха, с отцовского – и пальцы тонкие, хрупкие, жмут Анне Тимофевне руку, торопятся передать ей свое волнение. Под ржаными космами чуть не в слезах молодой взор и – точно жгут их красным железом – в судороге кривятся губы:

– Родная Анна Тимофевна, заставьте всю жизнь бога молить – передайте письмоцо Павперовой! Знаете? Да вон она, вон смотрит сюда, брюнетка такая, Павперова, вон...

Тянет кастеляншу к пролету чугунных лестниц, в нетерпенье тычет пальцем в воздух:

– Вон, брюнетка, черненькая, смотрит сюда, на четвертом этаже – нет, на третьем – вот кивает, смотрит!.. Ах, Господи! Христом-богом прошу!

И вот уж зажал письмоцо в ладонь Анне Тимофевне, и вот отскочил в сторону, выглядывает из приемной, сует обшлага белые под сюртучные рукава, белую манишку – за отвороты (вылезает наружу отцовская рубаха), взволнован.

По чугунным ступеням привычных витых лестниц, будто на крыльях, несется Анна Тимофевна к Оленьке.

По пути, на площадке – в гуще пелеринок, передников, нарукавников, бантов, ленточек, завитушек – чей-то ломкий шепот:

– Милуша, роднуля, спасибо!

И жаркая рука на лету ловит тайну оттуда, снизу, из про-



лета, где задрал вверх голову спрятавший под сюртук излишки отцовской рубахи семинарист.

И вдруг холодной водой из ушата:

– Что вы там передали Павперовой? Какой вид!

Играет роговыми блесками лорнет начальницы, тухнут кругом румянцы. И точно потерянное птицей белое перо, закрутился в пролете лестниц скатанный в трубочку клочок бумаги.

– Я пришлю за вами, Анна Тимофевна. Павперова, пойдете!

Застыли на площадке нарукавники, пелеринки, передники, потухли румянцы, тихо. И только одна Анна Тимофевна метнулась вверх по чугунным ступеням.

Под чердаком, в пустынной громаде низкой комнаты, у ситцевой занавески, спрятавшей кровати, в стариковском кресле покоилась, как старик, Оленька: вытянула беспомощно ноги, вобрала стриженную голову в острые плечи – голова узкая, длинная, как дыня, – сосала прямой, белый палец.

Как всегда – не улыбнулась, не шелохнула головой, только вынула изо рта палец, сказала:

– Поесть.

Засуетилась Анна Тимофевна вокруг дочери. Надо ее обтереть, отряхнуть, сказать, чтоб не сосала пальцы, не кривила руку: взяла Оленька в привычку крепко прижимать к груди руку, согнув кисть так, что она висела, точно отсеченная.

Прижалась к дочери, спросила обычное:

– Ничего не болит?

– Поесть.

Потом, за едой, вдруг зло взглянув на мать:

– В училищу больше не хочу!

– Что ты, Оленька, почему?

– Мальчишки дразнятся...

– А с тобой, – перехватила дыхание, – с тобой там ничего не было? Не помнишь?

– Ничего...

– Ну, хорошо, не ходи, учись дома...

Не глядя видит Анна Тимофеевна злые, непонятно-злые глаза Оленьки, вихры ее желтые и под вихрами, на лбу, незажившую кровавую болячку: в последнем припадке ударила Оленька головой об косяк, ссадила кожу и теперь не даст зажить рану, отдирает ногтями кровяную корку.

И опять обтирать, отряхивать Оленьку, смотреть за каждым ее шагом, каждую минуту чувствовать на себе злой ее взгляд, каждый час, каждый день ждать, когда опять придет неминуемое, жуткое, бесовское.

И потом бежать в кладовую, считать штабеля вымытого белья, перетряхивать груды, вороха, горы грязных вонючих юбок, лифов, рубашек, чулок, каждую минуту ощущать неумную боль в спине – не разогнуть спины, во всю жизнь не разогнуть ее – каждый час слышать жалобы и ругань прачек, штопальщиц, портних. И потом нести в судках щи из кислой капусты и котлеты, а в постные дни – кашу – изо дня

в день, из года в год — по чугунным, гладким от подошв, ступеням на самый верх, под чердак, и у дверей пустынной громады, перед тем, как открыть их, прислушиваться к тому, что творится в комнате.

И что же дальше, что дальше?..

Утром другого дня была Анна Тимофеевна у доктора. Сидя в приемной, ловила стуки и шорохи докторского кабинета. Знала, что за стеной расставлены на железных ногах машины, кресла, столы, что на окна темные, как в театре, свисают занавески, что свершается в докторской комнате тайное: усыпляют Оленьку, внушают больной, что она здорова.

И когда распахнулась дверь и вывел доктор больную, и Анна Тимофеевна, прощаясь, прилепила к докторской руке клейкую от пота бумажку, было ей светло и трепыхало сердце ее в ответ докторскому доброму слову:

— Ничего, ничего! Скоро мы такими молодцами будем...

Проливным дождем взбодрило небо улицы, а потом прояснилось, погладило землю теплынью, и Анне Тимофеевне оттого стало еще светлее. Вела она за руку Оленьку, вела толпой суетливых базарников, людскою толкучкой, живой и словно чистой от проливня. Бодро, хорошо было от брани и криков, и от цвеченых ситцев, и от треска арбузных корок под ногами.

И вдруг рванула Оленька руку Анны Тимофеевны, грузно потянула ртом воздух и упала навзничь. Упала в лужу, густую, желтую от навоза, сразу перевернулась, легла в грязь

ничком, забила в корчах. И так же вдруг побледнела Анна Тимофевна, стала холодной, строгой и быстрой. Выволокла дочь из грязи, перевернула на спину, накинула на лицо ее – в кружевах белой пены у рта – чистый платок, развела тугие, как железные полосы, руки, легла всем телом на ноги, скрученные судорогой.

Люди шарахнулись в стороны, как лошади – от падали. Потом медленно приблизились, сбились в узкое кольцо, бездельные, собравшиеся глазеть, пока не надоест.

Задние наседали, проталкивались вперед.

Не торопясь говорили:

– Вот нализалась!

– Баба, что ль?

– Какое! Девка...

– Ишь ты, в рот тебе...

– Да не пьяная, чего лезешь-то!

– Падучая с ней...

– Кликуша? У нас на деревне одна такая...

– Известно, бесноватая...

– А эта что, мать, что ли, будет?

– Давно это с ней, барынька, а?

Строгая, холодная, утишала Анна Тимофевна корчи дочери. Молчала.

И когда кончилось, и с кривой непонимающей и непонятной улыбкой встала на ноги Оленька, расступились базарные люди нехотя, исподволь, не спеша.

– Тоже торгуется, – сказал извозчик, подбирая вожжи, – везти-то вас в пролетке не услада: обнавозились обе...

Через весь город и потом по всей чугунной лестнице – длинней, тягостней городских улиц – под перекрестными взглядами чужих холодящих глаз, к себе, в комнату с ситцевой занавеской и стариновским креслом, в комнату, где можно обтереть, отряхнуть Оленьку и где – ни для кого не видно, про себя – можно любить свою дочь.

Что же дальше, что дальше?..

В этот день начальница епархиального училища сказала кастаньянше:

– Передавать записочки воспитанницам от незнакомых молодых людей этого дольше терпеть нельзя. Другую на вашем месте я бы уволила. Вам, во внимание к долголетней службе, я делаю предупреждение. И чтобы не могло подобного повториться, вы будете переселены в другую квартиру...

Эта новая квартира Анны Тимофевны – подвальная комната с зарешеченными окнами на улицу – скрашивала однообразие развлечений уличных ребят. Почти каждый день какой-нибудь заскучавший мальчуган, перегнувшись через железные перила и заглядывая в окно, вопил на всю улицу своему приятелю:

– Сень-ка-у! Айда смотреть сумасшедшую!

А за решеткой, обозленная, угловато махая – будто отрубленной кистью руки, грызлась и строила рожи Оленька. На

губах ее жирные пузырились слюни.

## Глава восьмая

Рыжий монах в курчавой бороде и с плоским, как у гуся, носом, обтер лысину, надел скуфейку и сказал:

– Пиши: крестьянин деревни Евсеевки, Синенской волости, Саратовского уезда и губернии Прохор Прохоров Бутылин показал. Почисти перо.

Длиннорукий писарь-монашеноч вытер перо об завощенный подрясник. Точно обрадовавшись, разукрасился улыбкой:

– Вопре!

– Вопреешь тут, – буркнул рыжий. Потом недовольно взглянул на свидетеля:

– Так как ты говоришь?

– Бутылин, Прохор Прохорыч...

– Слышал. Где, говоришь, повстречал больного-то?

– Которого?

– А вот, который исцелен, о котором показываешь.

– Это безногого, что ль?

– Не безногого, а хромого: у которого ног нет – исцелиться не может, а хромой может – у которого ноги целы, но в бездействии...

Испитой мещанин, на голову выше толпы, по-бабьи взвизгнул:

– Господь бог все может, господь бог всякому по вере

его!..

– Не спорь, – перебил монах, снимая скуфейку, – здесь тебе не судейская палата. Сказывай, Бутылин, по порядку.

Люди стояли плечом к плечу, прилипнув друг к другу, так же, как рубахи прилипли к телам их. Открытыми сухими ртами ловили раскаленный смоляной дух бревенчатой избы, открытыми сухими ртами ловили новые слова о новом чуде.

– Не напирайте на стол, господи, твоя сила!

Седенький попик замахал рукавами грязной чесучовой рясы, обернулся к рыжему соседу, вздохнул:

– Ну и народ!

Монах отпил из деревянной чашки квасу, вынул изо рта попавшую с квасом муху, стряхнул ее с пальца, сказал:

– Публика!

Свидетель рассказывал:

– Смотри, говорю ему, везут в тачке паренька, паренек молодой, а ног нету.

– Кому говоришь-то?

– А ему, старосте нашему, Егор Иванычу.

– Да ведь он слепой?

– Двистительно, совсем не видит, а я, значит, – его поводом...

– Как же ты ему говоришь, чтобы он смотрел?

Седенький попик перестал вшивать в папку бумаги. Монашеночек метнул глазком на рыжего, точно спросил: фыркнуть иль нет?



Народ затаил дыхание.

Тогда свидетель, обтерев рукавом лицо, посмотрел вокруг себя и широко, всем лицом улыбнулся – попросил прощения: – А я неграмотный, не знаю, как это, чтобы правильно...

И народ облегченно вздохнул и насел сплошной своей потной грудью на Прохора Прохорыча, на монахов, на стол.

– Пиши, – сказал рыжий, – и, проходя городом, видел этого человека, ныне чудесно исцеленного юношу крестьянского сословия...

От людей, скатавшихся плотным комом в бревенчатой коробке, плыла через окна и дверь синеватым дымком испарина, подымалась в зное под шапки сосен, таяла в небе.

В просеке, от длинных тесовых бараков, набитых богомольцами, плыл такой же дымок, так же вяз в сосновых иглах, так же растворялся в небе.

В онучах, лаптях, босой, в сарафанах, паневах, зипунах, простоволосый, повязанный платками, в шапках, картузах, валеных шляпах, обложенный котомками, сундучками, нечесаный, невымытый, пропотевший – крестьянский и христианский народ, тесным миром, плотным сходом, молчным сбором, собрался к преподобному своему чудотворцу.

Привез, приволок в тачках, тележках, привел за руку, притащил на руках и горбах – за многие сотни верст, из чужих краев, дальних сторон сырых, убогих, недугующих, болящих, хилых, калек, уродов, безумных, страждущих, скорбящих, печалющихся.

Рассадил – с бельмами, безносых, сухоруких, пляшущих, вопящих хулу, текущих гноем, смердящих вонью, прокаженных и параличных – рассадил на лужке под деревцами.

Сам стал – нищий, постный, изошедший кровью, при последнем издыханье – сам стал на больные колени свои.

Глазами своими, как у хворой животины, взглянул на сонмище уродов и калек, поднял потом глаза на преподобного своего чудотворца, молвил:

– Исцеляй. Не уйду, не отстану, пока не исцелишь. Только на тебя и надежа.

Не уходит.

Гнали его, уговаривали, посуляли разное, хитростью думали вывести за ограду обители, – остался. На сырой земле, под дождями, ветрами, во вшивых бараках, нетопленых избах мерз, метался в жару, умирал, – остался.

Лежит, немощный, ползет по земле, толкает перед собой тачку с живым гнойным обрубком брата своего, трясет, несогласный, головою, ликом серым, как суглинок, уперся, губами бледными, как мел, перебирает:

– Не отстану, пока не исцелишь...

В пряном от сосны зное, в тысяче знойных уст одни слова:

– Сегодня на камне-то, слыхала?

– Как же, милая, довел господь...

– Чего говоришь?

– Шабриха моя... вместе мы с ей...

Кучерявый малый весело, как колокольцем, звенит тенор-

ком:

– Встал, колясочку свою, значит, под мышку, перекрестился, да и пошел...

– Видел?

– Да вы, господин, ежели сумлеваетесь, или что, так вот у часовни домик – от такой, вот люди-то хрестьянские собрамши, дак там записано столько этих очевидцев...

Барынька бледная в платье кружевном, под кружевным зонтиком, волнуется:

– Как, как вы говорите?

– А вот так, колясочку под мышку...

– Господи, – вздыхает кружевная барынька, – встал и пошел! Как в Евангелии...

– Очень просто...

А в бревенчатой избе нет сил дышать, монахи пьют квас, обливаются потом, рыжий зыкает млелым масляным зыком:

– Да ты видел? Говори прямо, видел?

– Как же не видать, слава тебе господи, – пугается свидетель, и толпа освобожденно вздыхает.

– Пиши: подтверждаю перед крестом... Да не прите вы, как овны, мать божия, живоносный источник!

Дышит народ грузно – так дышит скотина в стаде под насевшей с неба беременной тучей, готовой пролиться. Стоном застряло дыхание в сосновых иглах, смоляной тяжелой тучей, готовой пролиться, навис над обителью стон:

– Выноси, преподобный, на тебя одного надежа, выноси!

На тебя одного!

## Глава девятая

– На тебя одного, на тебя одного, на тебя одного, – горячим, плавленным, тупым оловом лежат слова в голове Анны Тимофевны, черной птицей врезались в ее сердце, расплылись по жилам, бьют в лицо, трепыхают, калят, плавят:

– На тебя одного, на тебя одного!

И страшно.

Страшно стоять зажатой в живые тиски животов, локтей, плеч, бабьих грудей, в бездонной вязи плача – густого, топкого, как колодезное дно, – стоять за спиною Оленьки, стоять перед ракой угодника.

Золотоносными ключами ломится в храмовые окна солнце, поджигает мертвые жемчуга на кованых ризах, шелковые ленты лампад, золотые разводы полога, темную, бронзово-зеленую раку.

И лики святых строже и мутней от блеска риз, и рака глубже и чернее.

Страшно.

Вот приподымется в вековой своей усыпальнице угодник, сядет, ухватившись за края позолоченной раки, как всегда – в черной рясе, как на иконах – в епитрахили, в голубой парчи поручах с белыми крестиками, и на епитрахили крестики, и на скуфейке крестик – тоненький, в ниточку, как нательный. А скуфейка бархатная, потертая. Приподымется, сядет, от-

кроет синие свои глаза – прямо на Анну Тимофевну, прямо на нее синими глазами взглянет и скажет:

– Зачем пришла? Ступай к своему фокуснику.

И ляжет.

И ляжет опять в свою раку, чтобы уж никогда не вставать, а лежа вечно, творить чудеса. Не вынести прозрачных, синих его глаз.

Умереть.

И легче стоять за спиной Оленьки, смотреть, как бьет она изо рта пену, хрипит и мурзится по-собачьи, корчась на холодном бетоне. И задышаться вместе с миром:

Миром Господу –

в топкой вязи густого плача и ни о чем не думать, ах, только бы ни о чем не думать, ни о чем – господи, дай сил – ни о чем, только вот:

– На тебя одного надежа, выноси. На тебя одного...

Страшно.

Страшно стоять у камня со следами колен его – две круглых выбоинки, словно от воды – стоять за спиной Оленьки, придавленной к сосне, смотреть, откинув голову, на пахучий ствол, слушать, как плывет жидкое олово по разорванному телу.

Ждать.

Вот выйдет из-за сосны, неслышно минет вопящих уро-

дов, подойдет к ней – к Анне Тимофеевне, прямо к ней – в поддевочке, как всегда в лесу, на молитве, с веревкой вместо пояса и в шапочке плоскодонной. Подойдет, взглянет прозрачно, спросит:

– А ты все здесь? Шла бы, матушка, к доктору какому...

И растает в сосновой мути.

Не вынести.

Легче смотреть, как по-звериному царапает пальцами сухую землю Оленька, как сочится из-под ногтей ее кровь и набивается под ногти жесткая хвоя. И вопит в скляном хоре уродов, стуча зубами, как на морозе:

– А-аа-ааа-аа-а! А-аа-аа-а!

И думать, нет, ни о чем не думать, – ах, господи, дай сил – только бы ни о чем не думать, ни о чем, а вот:

– На тебя одного, на тебя одного...

Страшно.

В тот день четыре было с Оленькой припадка.

Утром, за длинным, в три доски, столом, в бараке пили чай. Когда ударили к обедне и поплыл по бараку медный сытый гул, Оленька поползла, как баловник-ребенок, под стол. Точно крюкой, загребла с собой чайники, тарелки, остатки снеди.

Сосед – тонкий, безбородый мужичонка в чуйке – привскочил, нахохлился, заголосил:

– Не дает людям чаю напиться, в грех вводит, в расход, в озлобление. Беды нет на твою голову. Три раза говел, приоб-

щался, опять с тобой нагрешил, тьфу ты, пропасть какая!..

Вспомнила Анна Тимофеевна, когда приехала, рассказал ей безбородый: лудильщик он, второй десяток мастерскую держит, года два будет, как облил правую свою руку купоросным маслом, гнить начала рука, никакое лекарство не помогло, на одно чудо надежда, а с гнилой рукой – хоть в гроб.

Взглянула на лудильщика Анна Тимофеевна, сказала больше глазами:

– Седьмой день мы тут, больная она у меня, устала...

– Эка, како дело, семой день! Я может другой месяц дожидаю, три раза приобщался, а ты – семой день! Нет, ты помайси-ка вдосталь!

Повела Анна Тимофеевна округ себя взором.

Много смотрело на нее глаз, изошедших слезами, сухих глаз, и показались они ей такими, как у лудильщика: спаленными неугасимым жаром, песчаными.

Кинулась утишать Оленькины корчи.

Спохватилась:

– На тебя одного, на тебя одного...

И так еще трижды в тот день.

А к вечеру всполохнулся народ чудом.

Свершилось оно у камня, там, где рыла и скребла хвойную землю Оленька. И все знали о чуде, хотя никто не видел его. Не видел и сухоногого, который взял в руки коляску и пошел.

Все знали, что пять лет ездил сухоногий в коляске, толкаясь об землю руками.



Все знали, что встал он и пошел.

И густо, точно рыбы, которым пришло время метать икру, повалили к камню, явившему чудо.

Вспугнутой, смятенной запало Anne Тимофевне жарким зерном слово:

– Нынче.

Обмывала, наряжала дочь, как к святым тайнам, готовила к закату. Тайно ото всех растила жаркое зерно:

– Нынче.

В закат повела Оленьку к источнику.

Там не было давки: народ ушел к камню.

Монах в подоткнутой рясе и в фартуке, точно столяр, спросил:

– Падучая?

Засучил рукава, смерил Оленьку крошечными, как у белки, глазами, по-беличьи утершись, сказал:

– Тут троих надо, и то не управишься.

Анна Тимофевна собрала на лбу сетку тонких морщинок, торопливо выдавила из себя:

– Пожалуйста.

Оправила на Оленьке воротник.

Монах понизил голос:

– По полтиннику на человека, да в кружку...

Анна Тимофевна засуетилась.

Монах крикнул:

– Трои!

Из-за тесовой загородки, похожей на купальню, вышли вразвалочку парни, на ходу, как крючники, разминая плечи, оглядывая Оленьку, точно собираясь взвалить на свои спины тяжелую кладь.

Сплюнули, втоптали в землю окурки.

– Раздевайте, – сказал монах.

Анна Тимофеевна стала расстегивать Оленькино платье.

Сквозь сосны стлался по траве розоватый усталый свет, прилипал к тесовой загородке, ровно и тихо свертывался на стволах в красные закатные сгустки.

Далеко от источника тяжелыми вздохами порывался взлететь к небу людской шум и падал большой птицей наземь.

Источник звякал бубенцом.

Двое парней взяли Оленьку под руки, третий пошел сзади.

Но Оленька вдруг закинула голову, крикнула в знойную духоту пронзительно, будто камнем вспорола плотную вечернюю тишь. Рванулась, осела на дорожку. Забила по земле пятками.

Монах сказал парню, шедшему сзади:

– Возьми в ноги.

Тот захватил голые Оленькины ноги под мышку, прижал к груди. Двое других скрутили Оленьке руки.

Подняли, понесли.

Но когда дошли до загородки, Оленькины ноги уперлись в доски, быстро согнулись в коленях, потом выпрямились. Парни рухнули вместе с больной на землю.

Оленька короткими бросалась криками:

– Аау-ау! Га-ау, гау! Уа-у!..

Монах подбежал к Анне Тимофевне, по-беличьи утерся ладонью, сказал:

– Не управятся, четвертого надо. Давай еще полтинник...

У Анны Тимофевны лицо изрезалось морщинками, сжалось, запрыгало. Выдавила через силу:

– Пожалуйста.

Белая рубаша сползла с Оленькиных плеч, тугие груди в синяках, с острыми сосками выскочили, кругло заалели в закатной краске вечера. Голые ляжки в кровоподтеках, царапинах вырывались из рук парня. Вспарывалась плотная духота собачьим лаем:

– Га-ау! Гау-ау!

Парни бросили Оленьку перед входом в купальню. Отряхиваясь, отошли в сторону. Перемигнулись, обмерив оголившийся Оленькин живот.

Тогда бросилась Анна Тимофевна к дочери, быстрая, как всегда. Закрыла ее платьем, загородила собою тело ее, на коленях встала между дочерью и парнями, монаху крикнула неожиданно жестко:

– Не надо! Ничего не надо! Не надо!

И вдруг не стало в голове, и в сердце, и во всем теле плавленного олова неотступных слов:

– На тебя одного, на тебя одного.

И из жаркого зерна другого слова:

– Нынче – выросли простые думы:

– Рассердится начальница, что не вернулась вовремя...

Денег осталось шесть рублей... Подводу надо заказать с вечера...

И первую в обители ночь, на воле, на мшалом еловом корне, не пугал Анну Тимофевну во сне преподобный.

И потом, когда сидела на нижней палубе широкобокого парохода над спавшей глубоко дочерью – сутки подряд проспала Оленька – и ждала ее пробуждения, катились за ворот слезы сплошной неторопливой струйкой.

Проснулась Оленька ясной и чистой, какой давно не была, и ясно и чисто спросила, как не спрашивала с детства:

– Не поедem туда?

И твердо сказала Анна Тимофевна:

– Нет, Оленька, никуда больше не поедem.

Тогда повела дочь толстыми губами, будто улыбнувшись, и сухим, прямым пальцем ткнула в щеку матери:

– Плачь, не надо.

И ответила мать:

– Не буду, не буду плакать!

И поцеловала Оленьку в исцарапанное, избитое лицо.

## Глава десятая

Над батарейками парового отопления развешены мокрые полотенца. Но воздух в комнате сухой, и хочется расстегнуть рубашку, снять с себя все, окунуть голову в холодную воду.

Жена у доктора молода и красива, ей скучно в сухих высоких беленых комнатах, ей хочется в город, на людей, и она унывную мурлычет песню в комнате, рядом с кабинетом мужа.

Доктор пришел с вечернего обхода и, как был – в халате, с трубкой и молоточком за поясом – сидит у стола, под лампой с красным колпаком из папиросной бумаги, который сделала со скуки жена.

Ночью доктор – дежурный, и надо не спать, надо слушать жену, которая уверяет, что в колонии нельзя оставаться ни одного дня, что она умрет с тоски, а он кончит, как доктор Штраль.

Надо не спать, слушать жену, а когда она уйдет – думать.

Доктор Штраль лежит на самой высокой горе, которую зовут Медвяной, над колонией, в двухстах шагах от пятого корпуса.

Лежит под желтой суглинной насыпью в бледно-желтых бессмертниках, скученных под железным крестом. Кругом насыпи чугунная врыта ограда, от нее вниз, по скатам, топорщится сизая, горькая полынь.

Теперь, зимой, доктор Штраль засыпан снегом. Заслонилами, как у щитов железной дороги, взметнулись у ограды сугробы, и толстой, прибитой ветром коркой обхватил снег Медвяную гору.

В буран не видно доктора Штраля.

В буран посмотреть с гор, – приплюснутыми ульями прячутся в котловине кирпичные корпуса колонии.

Над ульями острыми воронками кружит пурга, мчится на горы, гикает, свищет в чаще осинника. Подминает, как зверь, березняк, раскачивает тугие шлагбаумы, лютым озорником несется по шоссейным дорогам.

В котловине безлюдно. Сдвинулись запорошенные ульи, как на пасеке; в запорошенных ульях, отогретых трубами, бродят люди.

Людей привел доктор Штраль. Построил на горах, в котловине, в осиннике и березняке каменные, кирпичные, бетонные дома, связал их железом, медью, опутал проволокой, загородил шлагбаумами, расставил сторожки. В дома привел и рассадил, как в сотах, по беленым комнатам людей.

Летом стал водить людей на поляны, в березняк, в горы.

Потом и его водили с людьми в березняк, держали в беленых стенах, и когда кончилось – подняли на Медвяную гору и закопали в суглинок.

А людей, которых доктор Штраль поселил, как в сотах, в каменных беленых комнатах, по-прежнему водили в горы, на поляны, и люди плели венки из крупной – в пятак – ро-

машки, пели песни без слов, изнывали в плясе и жили в сотах каждый до своего конца.

Старели кирпичи, выбивалось шоссе, гнили шлагбаумы, а по горам и котловине ступали весны и зимы, уходили пашнями за реку, через деревни, перелески, овраги. Цвел пышно и пряно осинник, тянулись под ногами его к теплу лиловые колокольцы, осыпались лиловые ромашки, росли птицы, увядали травы.

Налетал пьяным бесом буран, через крыши, через осинник, через горы гикал, клекотал, свистел по-птичьи. Ступали через горы морозы, крякал суглинок; притаившись, ждал теплых ветров.

Прячутся в снегах пасечными колодами кирпичные корпуса, по отогретым сотам бродят люди.

С каждым годом больше людей, и никто не уходит из котловины, и негде размещать людей, забиты плотно людьми белены соты.

Сидеть всю ночь под лампой в колпаке из папиросной бумаги, думать о заснеженной котловине, думать о Медвяной горе.

В тишине перечитывать записки доктора Штраля: когда понял, что гибнет, стал подробно, как о пациенте, записывать о себе до самой смерти. Писал так:

«Июня восьмого. В половине шестого вечера почувствовал озноб темп. 38,2; пульс 98. Зрачок слабо реагирует. Жажда. Боль в затылке значительная. Ногам холодно; надел

валенки. Помню, что в соседней комнате что-то упало. Потом все провалилось. После возбуждения – боль в виске: ударился об косяк. Кажется, это помню. Остальное – в записях ординатора. Сознание вернулось в 9 час. веч. темп. – 36,1; пульс 84».

Протянул руку к рисунку. На желтой выгоревшей бумаге две планеты, похожих на луну. Кругом – облачные миры. С одной планеты на другую, страшно обнаженный, волосатыми ногами перешагнул ангел. Лик просветлен, прозрачны за спиною крылья, в вытянутых руках меч и пальмовая ветка. Подпись:

*«Свободно путешествующая особа архистратига Михаила».*

В кучу бумаг на столе бросил рисунок.

Подумал:

«Нужен закон: безнадежных умерщвлять. Пока не найдем лечения... Может и мне начать дневник?..»

Вошел фельдшер – тяжелый, как шлагбаум. Обтер тюленьи усы, с мшистых ресниц закапала вода, сказал:

– Пороша.

– Сыплет? – спросил доктор.

– Сверху – как пробка... Из двенадцатой палаты художник мается очень...

– Знаю.

– Сутки нынче, как в изолятке.

– Знаю.



– Дать чего?

– Рубашку.

– Надета. Катается, вспух весь, словно волдырь... Может, пропишете?..

– Что еще у вас?

Вдруг вскочил, забегал:

– Сами не знаете? Сами, сами, спрашиваю, не знаете? Сами?

Фельдшер присел на краешек кресла, утер тюленьи усы.

– Жалко.

Доктор сел.

– Что еще?

– Об этом я... Через кухню к вам женщина, вас дожидается... из города...

– Пойдете – скажите ей, чтобы вошла. Покойной ночи!

– Ничего не пропишете?

Сухо, коротко, точно бросил доктор камнем:

– Ничего.

Неуклюжим тугим шлагбаумом распрямился фельдшер, вышел, унося за собой свежий дух пороши.

И опять сидеть и думать:

«Нужен закон. Без закона нельзя... Может, пора начать дневник?..»

Анна Тимофеевна вошла тихо, словно вдунул ее в комнату неслышный ветер. Помяла пальцы, поклонилась, сказала:

– Доктор, я к вам...

Тот взглянул на нее неприветно. Ответил:

– Вижу... Что скажете?

– Дочь у меня... в третьем корпусе.

– Что с ней?

– Припадочная...

– Эпилептичка?

– Припадки с ней, с детства... В двадцатой палате...

– Как ее?... А, да, да, помню... Идиотизм... да, так что же?

И вдруг подломились у Анны Тимофевны ноги. Мягким, ватным тюком упала она на пол, быстрые худые пальцы ее забегали по коленям доктора, и голова, круглая, шароподобная от толстого платка, точно силясь оторваться от плеч, запрыгала, как у куклы.

Придушив, смяв глухие всхлипы, неожиданно остро и звонко вскрикнула:

– Умрет, умре-ет она, доктор!

Доктор вскочил, брезгливо стряхнул со своих колен цепкие быстрые пальцы Анны Тимофевны, зашагал по кабинету, холодно и зло чеканя каблуками четкие удары. Хотел сказать:

– Тем лучше...

Но Анна Тимофевна так же быстро, как упала, поднялась, оторопело утерла лицо, села в кресло.

И доктор сказал:

– Идиоты и эпилептики живут долго...

Анна Тимофевна привскочила с сиденья, скользнула ру-

кой в глубокий карман ватной своей одежды, вынула сальный рыжий кошелек, заторопилась – порывистая и суетливая.

Облезлый медный замок кошелька не поддавался, выскальзывал из рук, звенькал сломанным колечком по ободкам. Анна Тимофевна бормотала:

– Полечите ее, полечите... вот, пожалуйста, доктор, вот... полечите!

И, вся подергиваясь, торопясь, медленно придвигалась к доктору. Тогда доктор крикнул обрывисто:

– Не смейте! Уходите!

Она остолбенела, желтыми, яркими от слез и красного света глазами уставилась на доктора, потом съежилась и не проговорила, а шепнула:

– Одна она у меня... никого у меня... одна...

И пятясь задом, тихо, точно ее выдул неслышный ветер, ушла.

И когда проходила по полутемной высокой комнате, смежной с кабинетом, слышалось ей, будто простонал мужчина, и женский голос мягко сказал:

– Милый, когда я думаю о докторе Штрале...

Анна Тимофевна ночевала у сиделки из двадцатой палаты – дебели, каменнолицей финки. Финка кипятила ячменный кофе на чистеньком примусе, водянистыми глазками ерзала по госте, изредка шепелявые произносила словечки.

Анна Тимофевна раскладывала перед финкой бумажные кружева и прошивки, говорила не своими словами, прише-

петывая в угоду картавой хозяйке:

– У нас классная дама есть, настоящая барыня, так у ней, на кофточке ночной, точь-в-точь такие прошивочки. Прелесть что такое! Посмотрите-ка, прелесть!..

Клала на отвислую толстую грудь финки кружевное плетенье, откидывала назад голову, как портниха, восхищалась:

– Прелесть, прямо прелесть!

– У нас в Пэйле, – тонко и коротко заявляла сиделка, – богатые сенсины летом носят такой сак, у мене и сецас есть...

– Ах, это я знаю, это очень модно! – восклицает Анна Тимофевна.

– Подкладка у моего сак совсем плохой.

– Шелковая у вас?

– О, нет, атласный.

– Так у меня есть дома атлас, – торопится Анна Тимофевна, – у вас черный, или какой?

– Сецас показу, серный...

И за кофеем, перед тем как лечь спать, Анна Тимофевна пугливо заглядывает в водянистые глазки каменнолицей женщины и просит:

– Вы только, пожалуйста, родная, посмотрите за ней. А то ее прошлый раз целых два дня не умывали. Пожалуйста! И белье меняйте по средам, а по воскресеньям – я уж сама. И кашку варите у себя, покруче. Очень уж жидкая кашка, совсем вода...

И потом, лежа на дырявом диване, чтобы услышать лиш-

нее слово от сопящей глыбы, покрытой пахучей периной, повторяет Анна Тимофевна, ласково пришепетывая:

– А на подкладку я вам в будущую субботу, непременно. У меня есть.

И немного подождав:

– Только вы уж Оленьку, пожалуйста...

Сквозь сон что-то лепечет в ответ хлиплый чухонский голосок.

А наутро, с молочным рассветом, по запорошенным дорожкам, глубокой снежной котловиной пробирается Анна Тимофевна к третьему корпусу.

У входа в двадцатую палату, в коридоре, ей всегда жутко. Здесь ходят люди в полосатых халатах, которые свисают с плеч, как с вешалок. Здесь всегда сидит на крашеной чугунной батарееке высоколобый старикашка. Желтой, как мед, рукою сеет в воздухе крестики – осеняет чуром невидимых супостатов. И всегда – вот уж вторую зиму – кланяется старикашке Анна Тимофевна низко, как привратнику, а он, испуганно подобрав на батарееку ноги, сжавшись в комочек, осыпает ее спину градом крестиков.

В окна двадцатой палаты глядит молочное небо, густо свисая через оголенный костяк осинника, расклеивая свет по голым беленым стенам палаты.

И вот, напрягая все силы, чтобы пронизать глазами топкую муть рассвета и увидеть у крайнего окна матрац, постланный на полу, мимо привинченных к половицам низких

коек, между нескончаемых рядов их, в дальний угол, к крайнему, последнему матрацу, – там, на полу, – скорее, скорее, бегом, через всю палату – домчаться, упасть, охватить, прижать к груди, к лицу, к животу теплое, тучное, мягкое тело и дать волю стиснутому зубами стону:

– О-лень-ка-а!

И услышать в ответ:

– Ум-м-ум-а.

И спросить жарко, тормоша неповоротливое, как тюфяк, тело:

– Узнала, узнала?

– Ум-умм-ма-а.

И обмануть себя, обмануть еще, еще раз легко и радостно:

– Узнала, узнала, деточка!

Потом кормить ее, подбирая кашу деревянной круглой ложкой с подбородка, с груди, – как в давнем детстве Оленьки, на чердаке многооконного дома.

Мыть шершавую, острую голову, заклепывать пластырем царапины и ранки, целовать обложенную жирными обручами шею и слушать, слушать целый день, до сумерек, не подымаясь с пола, ее голос, голос Оленьки.

– У-у-мм-а...

И плакать тихо, в сумерки, перед уходом.

На заснеженных бахчах горбатыми скелетами стоят чигири, чернея позвонками своих ковшей. Вправо и влево от шоссейного полотна катятся подсиненные сумерками снега,

ныряет в них рыжий молодняк перелесков, скалят гнилые зубья растасканные изгороди огородов.

Через горы, бахчи, перелески, мимо них, медленно увязая в сугробы, медленно вытаскивая из сугробов ноги, – идти, идти, идти.

В порошу, буран, пургу, от котловины с кирпичными домами, как колоды, с белеными комнатами в них, как соты, по проглоченным ночью снегам – идти, идти.

В упавшем наземь тяжелом небе дрожит оранжевое пятно далекого города.

А позади Анны Тимофевны зарылась во тьме Медвяная гора с доктором Штралем на вершине. За Медвяной горой – пятый корпус, через дорожку от него – третий. В нем двадцатая палата, в нем Оленька.

Думать об этом.

И еще о том, как бы не забыть распороть атласную старую юбку и принести ее Оленькиной сиделке на подкладку для летнего сака.

## Глава одиннадцатая

Анна Тимофевна даже рассмеялась, когда услышала:

– Вам надо вставить зубы.

Посмотрела на доктора так, словно сказала:

– Шутник!

Оделась и ушла.

И правда, разве не шутник? У Анны Тимофевны давно болит что-то под ложечкой, болит не переставая, нудно и ту-по. Анна Тимофевна пила солодовый отвар, ела пареную айву и клала на живот припарки. Но когда стареешь, приходят недуги, а перед тем, как умереть, надо хворать.

И вдруг:

– Начнем с того, что сделаем вставные зубы...

Нет. Нет у Анны Тимофевны никакой веры ни в врачей, ни в лекарства, и пошла она к доктору, чтобы отделаться, отговориться как-нибудь от советчиков.

А советчики у ней новые, не те, что прожили с Анной Тимофевной длинную жизнь в многооконном доме, на тихой улице, где ползает конка. Советчики – разбитные, ловкие ребята из конфетной фабрики купца Докучина, словоблудные приказчики конфетной его лавки, где стоит у кассы Анна Тимофевна.

Вот сказать им, что прописано на старость Анне Тимофевне, пусть позубоскалят.



А ей не до того.

Она идет за город, где грязно-зеленым одеялом принакрылась поляна, заставленная башенками кизяков. За кизяковым башенным пригородом – кирпичные сараи, за ними – почерневший тесовый навес. Под навесом сровнялась с землей бурая насыпь, бестравная, мертвая с холерного года, когда заливали известью плотную братскую могилу. За навесом братской могилы каменная ограда кладбища.

На могильной горке, уползшей по весне в землю, пучеглазят лимонно-желтые одуванчики. Кружевными пальцами показывает во все стороны осока. Из черной, холодной трещины у креста неслышно выползает змееголовая зеленая ящерица. Ртутной каплей перекачивается на соседнюю могилу, кальковыми, как у курицы, веками затягивает глаза. Шустро дышит чешуйно-белым, ярким животом, вся в солнце, вся в осоке, вся точно сотканная из осоки, солнца и лимонно-желтых одуванчиков.

Голая прямолинейная чаща крестов ровно растет под ровной синью неба. Плотным недвижимым настом лежит на земле запах богородской травы. И ничего не слышно.

Анна Тимофеевна сидит на могильной насыпи, скользнувшей по весне в землю. Глаза ее желты, как глина, и, как глина, сухо потрескалось лицо. Она смотрит в черную холодную трещину у креста и ртом вдыхает холодок, застрявший в кружевных пальцах осоки.

Ящерица много раз ртутной струйкой скользнула в тре-

щину, много раз перекатилась с одной могилы на другую. Солнце начало падать на землю.

Анна Тимофевна положила земной поклон и потянулась к кресту.

Там, вместе с четырьмя деревянными ножками от гроба, почерневшей веревочкой привязан образок равноапостольной княгини Ольги. Анна Тимофевна поцеловала образок, еще раз поклонилась и пошла сквозь ровную чащу крестов хорошо проторенной тропинкой.

Из больших кладбищенских ворот дорога вела к вокзалу, и чем дальше, тем шумнее становилось кругом, больше встречалось народу, гуще опутывали машинные запахи.

У вокзальной площади на Анну Тимофевну накатились толпа солдат, ребятишек, стариков и женщин. Бабы висли на обложенных узлами солдатах, истошно ревели, утирались руками, размазывая по круглым щекам рыжую клейкую грязь. В жирной закатной краске шевелились люди, как дождевые черви в банке, тащили, мяли, скатывали, взваливали на горбы узлы, мешки, котомки. С мешками и котомками волочили солдаты вопящих баб, горланили, зевали вразброд песню, похожую на бабий рев.

И шумно, как ливень, пронеслись мимо, обрушившись куда-то за вокзал.

Анна Тимофевна очутилась одна посреди пустой площади, лицом к лицу с какой-то бабой. Баба вздохнула сердобольно, спросила:

– Сына, что ль, угнали?

Анна Тимофеевна покачала головой. Баба прищурилась, шагнула в сторону, раздумчиво молвила:

– А я смотрю, что-й-то ты заливаисся?

И тогда очнулась Анна Тимофеевна и заспешила.

И вдруг вспомнилось ей так четко, будто случилось это всего какой-нибудь день, может – час, назад. Вспомнилось четко:

Остановилась она в переулке, у самых ворот убежища, как всегда – в тугом камлотовом платье, с тугой, как серп, косичкой на затылке, в толстокожих чоботах. Остановилась и, прижав к груди кулачки, смотрит.

По пыльной дороге чернобородый мужик тащит на веревочном аркане маленькую шершавую собачонку. Собачонка изо всей силы поджимает под себя дрожащий хвост, перебирает часто-часто лапами (кажется, что она бежит назад), костяной дробью мелких зубов колет пустую тишину улицы. А чернобородый грузно передвигает по пыли тяжелые сапоги, волоча собачонку к телеге с клеткой, скучный и злой. В клетке жмутся взлохмаченные разномастные морды и заслоняет их другой мужик, такой же скучный и злой, с арканом и кнутом в руке.

У Нюрки стучат зубы, как у собачонки, слезы арканом душат ее горло, она топает по земле ногами, точно пособляя собачонке упираться, и в ознобе, без памяти кричит мужикам:

– Дураки, дураки, дураки, дураки!

Сквозь слезы не рассмотрела Нюрка кто подошел к ней и жестко спросил:

– Твой, что ль, щенок-от?

– Не-ет, – южит Нюрка.

– Чево ж скулишь-то?

– Жа-алка-а!

– Мало что жалко, – становясь чуть слышным, произносит голос, – на каждое жалко не наплачешься...

До последней черты, до последнего слова вспомнилось все это Анне Тимофевне. И, как катушка ниток, стало раскатываться прошлое.

И вот именно в этот день и в тот час, когда вошла Анна Тимофевна в бойкую улицу, где торговал купец Докучин, и когда нитка прошлого докатилась до нестерпимой, на всю жизнь прекрасной жути, именно в этот час началось для Анны Тимофевны чудесное, как во сне.

Улица была цветная, крикливая.

По одной стороне расселись вперемешку – биллиардные, пивные, казенные. По другой – лавки, постоянные дворы, торговые бани. Пестрый по улице шнырял люд, смекалистый народ, деловой и дельный. У ворот облупленных домов – на ходу, по пути, раз-два – играют в наперсток, в кольцо и картинку – игры надувные, быстрорукие. У заводил-шулеров, парней гибких, как прут, глаза крутятся рулеточным волчком в блюдце. Все видят, чуть чего – ищи ветра в поле. И

люди на улице – точно глаза шулерские – шмыгают, посуляют, торопятся.

Идти по этой улице – словно плыть в качкой бударке: вот-вот зачерпнешь воды, перевернешься, упустишь весло. Вот-вот вырежут карман, вот-вот зазеваешься, попадешь в кучку озорников – засмеют, затолкают. А сквозь перламутровые стекла гостиниц жужжат шмелями песни, из форточек торговых бань валит пьяный, тяжкий дух березы, через ворота постоянных дворов несутся раскаты жеребиного гогота. Захватывает дыханье, мчит, качается утлая бударка.

И насаждает на плечи грузная синь неба, тяжкая, как банный дух. Небо, синее небо, надо всей цветной улицей.

– Эй, эй, торопись, барынька! Пропустишь свиданку!..

Толщей вопля и ржанья, мимо вертких шулерских глаз, пробивалась Анна Тимофевна в лавку конфектника Докучина. Раскатывалась катушка прошлого, доходила нитка до единственного на всю жизнь, давнего, неразгаданного. И глохло что-то в сердце, как глохнет в ушах от железного звона.

– Эй, эй, торопись, барынька!

И вот, когда перешагнула порог лавки и приторная волна паточных запахов обдала с головы до ног, опять на мгновенье, но ясно, как тогда, увидела, будто – разорвалась бескрайняя синь, грузная, как небо, там, над улицей, и по всему золотому коридору, из самой глубины, сминая языки огней, прямо навстречу Анне Тимофевне пронеслось лицо, живое

лицо человека.

И будто ощутила, всего на секунду, как тут же сильные, сухие руки спутали сзади расплетенные косы, обхватили сзади шею, отогнули назад, смяли голову.

И еще, опять на один миг, почувствовала, что – нет уж ни свечей, ни зеркала, а только одни губы Антона Иваныча, и палят они и тушат.

Вскрикнула Анна Тимофевна...

Докучинский разбитной молодец справился:

– Уморились, Анна Тимофевна? Нынче аж камни трещат!

– Уморилась, – сказала Анна Тимофевна, и вдруг крепко охватила руками свою грудь, точно наглухо запахнувшись от ветра.

Перед ней стоял чуть сутулый, полысевший, с обвисшим животом студент путейский Антон Иваныч Энгель.

Видно, вырвалось из затверделых ее губ это имя. Он посмотрел на нее в упор, потом перевел неясные глаза на улицу, точно прикидывая про себя, в каком он городе, потом надтреснуто и гулко протянул:

– Н...не вспоминаю...

Тогда она бросила ему скороговоркой:

– Антон Иваныч Энгель, сын Энгеля... чулочной мастерской...

И, передохнув, еще:

– А я – Нюрка. Помните, Нюрка, Нюра, – когда еще вы студентом?..

Тогда у него лысина вдруг поползла с темени на затылок, и глаза заслезились, и толстые губы зачмокали смачно, и он потянулся к ней обеими руками.

И она не дала, а отдала ему свои руки, сняв с груди, и он мямл их небожно, потряхивая, пожимал и, точно животом, поговаривал одно слово:

– Да, да, да... Да, да, да... Да, да, да...

И тут же то выдавливал из живота и выдувал вместе со словом «да», то всасывал в себя короткие хорошие смешки:

– Дак-ха-ка-ах, дак-ха-ках!..

А она, как запыхавшаяся девочка, только дышала шумно, сжимая дрожавшие губы и не сводя с него своих стоячих желтых глаз.

Потом он обернулся и сказал:

– А это – мой сын... Володька... Пряники себе покупаем...

Володька, с длинной, вылезавшей из воротника голой шей, потной ладонью мазнул по руке Анну Тимофевну и скучно заерзал глазами по полкам с леденцами.

И из всего, что говорил Антон Иванович и что говорила ему Анна Тимофевна, ничего не сохранилось в ее памяти.

Одно запомнила: когда прощались, взглянула она на обручальное кольцо Антона Ивановича.

Было оно тоненько, поцарапано, тускло и носил его Антон Иванович на левой руке, на безымянном пальце.

## Глава двенадцатая

Плавным молочным кругом дыма обойдены зеленые зонты ламп, и свет от ламп волочится следом за дымом бесильный и тупой. Пожелтые костяные шары, как слепые, неслышно и осторожно катятся по суконному полю.

– Левка, помели!

Левка-маркер подхватывает кий – упругий и звонкий, точно из стали, вынимает из лузы мелок – привычно, как табак из кисета, – потом не спеша, с достоинством натирает кий мелом.

– Я вас, Антон Иванович, сразу понял. Такому, думаю, в рот палец – не тает... Разве Пашка Косой может с вами, а то нет...

– Пашка Косой отыгрывается. Я ему десять фору всегда дам.

– Ну, и кладет тоже, Антон Иванович: вчерась о трех бортах рассчитал, словно по чертежу, так и всадил!

Антон Иванович вырывает у маркера кий и вопит:

– Ставь, как хочешь! Закладывай трешку, ну?!

Левка-маркер вразвалочку удаляется.

– Разве я говорю? Разве я говорю, Антон Иванович? Биллиардер вы, несомненно, правильный...

Володька берет у отца кий, долго примеривается к пятнастому битку, потом коротко ударяет.

Шары носятся по зеленому полю, как оголтелый от грома



табунок жеребят.

Антон Иванович наливает в стакан пива, говорит:

– Шумно ты играешь, Володька, – не в шуме дело. На, выпей.

Володька смотрит пиво на свет, потом скучно тянет клейкую жидкость через зубы. Видно, как по длинной его шее медленно ходит вверх и вниз молодой кадычок.

– Мало налили...

За грязным окном, в знойном свете дня дрожат, громятся уличные шумы. В тени, у каменных оконниц, неподвижными кисеями повисли ошпаренные солнцем толкуны. В биллиардной тихо стынет кисловатая плесень.

Антон Иванович смотрит на часы:

– Ну, я поехал...

Володька кривит улыбочку, показывая коричневый оскал, и говорит немолодо:

– Любовь крутить?

Антон Иванович натягивает чесучовый пиджак, поправляет галстук, отхаркивается, плюет, растирает плевком подошвой долго и шумно, говорит, словно жует халву:

– Черт тебя знает, Володька, в кого ты? Пьешь пиво, да и водку, поди, потихоньку с девчонками ходишь, а из реального выставили...

– А вы за ученье внесли?.. Дайте-ка лучше на папиросы...

Антон Иванович кидает на стол полтинник, одергивается и выходит на улицу, потрясывая отвислым, мягким животом.

Володька подмигивает маркеру:

– Разобьем пирамидку?..

Неустанно стонет пестрая улица. Мечется стон ее по дворам, раскалывается дверьми, застревает в окнах. Беспокоит, влетев в комнату, Анну Тимофевну, торопит, теребит ее неотвязно.

Проворно сует в руке Анны Тимофевны блестящая игла, быстро бегают пальцы по ломкому шелку, мнется, выгибается на коленке каркас.

Прекрасная получилась у Анны Тимофевны шляпа, – пышная, кружевная, взбитая, как яичный белок, и ленты лиловые падают с примятых полей на плечи, точно кольчатые змеи. И такие роскошные вокруг тульи цветы!

А накидка у Анны Тимофевны песочно-розового цвета, такая нежная, и расшита горящим аграмантом, по краям и воротнику. А юбка – совсем как новая (никогда не подумаешь, что перевернута) и колоколом. Правда, давным-давно не носят уже накидок и не шьют юбок колоколом, но ведь Анна Тимофевна вовсе не так молода, чтобы гнаться за модой. Довольно того, что она наденет пояс из бледно-зеленого атласа с массивной бронзовой пряжкой в камнях, прозрачной изумруда, и возьмет зонт, перевитой на краю гирляндой роз. Он сохранился у нее с давних лет, этот зонт. Она оденется, как подобает немолодой вдове, – просто и со вкусом. Конечно, ей рано еще рядиться в темные краски. Ей очень к лицу розоватые и песочные материи. В этих цветах лицо ее ка-

жется даже моложавым. Право, вспомнить, как она не узнала себя, придя от дантиста и взглянув в зеркало! Так хотелось все время смеяться, блестя эмалью ровных, гладких зубов, не отходить от зеркальца, говорить и улыбаться самой себе от радости и неловкого ощущения полного, жесткого рта. Удивительно, что вставные зубы расправили не только морщинки вокруг рта, но, кажется, и на лбу и под глазами. Все лицо Анны Тимофевны разгладилось, будто налилось молодыми соками. Впрочем, это уж только кажется, право, кажется! Да и не в том дело, что на лице Анны Тимофевны сгладись морщинки. Важно, что тупую, неумную боль под ложечкой как рукой сняло. Только ради этого и вставила она себе мастиковые зубы. С каждым днем теперь лучше и бодрее чувствует себя Анна Тимофевна. Недаром ей всегда думалось, что доктора прекрасно знают, как лечить больных, и все несчастье в больных, которые не слушают докторов. Ах, как жалко, что у Анны Тимофевны это маленькое, тусклое зеркальце! Непонятно, как до сих пор не пришло ей на ум завести себе настоящее зеркало? Ну что увидишь в таком осколке? Неудобно же ходить всякий раз в комнаты хозяина. И так он усмехается в свою жирную бороду, когда встречает Анну Тимофевну. И откуда у него такая жирная борода? — сам постный и сушеный, а борода густая, кольчатая, путаная. Усмехается, даже неловко. Старик, а такой... Антон Иванович бороду бреет. Ах, да, Антон Иванович... Как это он тогда посмотрел и говорил: а ведь вы интересная женщина, Анна Ти-

мофевна... Ах, какая досада – нет зеркала! Может, сделать ленты подлиннее, чтобы завязывать бантом?..

Быстро снует игла в проворных руках, неотвязно торопят, зовут уличные знойные стоны, гулками комьями врываясь в окна. Скорее, скорее!

Но как радостно, как весело спешить! Шуршать материями и кружевами, собирать в кулак хрупкую косу, нацеплять галстук и брошку, нащупывать холодной серьгой с бирюзами заросшую мочку уха, подобрав живот, затягивать пояс с такой роскошной, прочной пряжкой!

И вон на улицу, бойкую, как горная речка, где нельзя идти, где надо плыть, как в бударке, – вот-вот зачерпнешь воды, вот-вот перевернешься.

И вот она несется в качкой, утлой бударке, и парус ее расцвечен гирляндой красных роз, и сама она – песочно-розовая, зеленая, лиловая, синяя, широкая, как колокол, в лентах, аграмантах, позументах и кружевах.

А кругом – прасолы, шулера, с глазами, как рулеточный волчок, разбитные, острые извозчики, зазывалы, шинкари.

– Эй, паря! Держи лошадей, понесут!

– Салоп, ходи к нам, хорошо купим!

– Го-го-ооо!.. Отдирай, примерзла!

– Бросила гостиницы, пошла по номерам!

Скорее из качкой бударки, скорее в сторону, в тихий переулок. Там, как устойчивый, ровный баркас, распустишь все паруса и сонно плыть мимо мирных, слепых домов. Что в

том, что мальчуганы перестают играть в козны и, разиня рот, глядят на Анну Тимофевну? Что в том, что сокрушенно качает головой какая-то старуха?

Анна Тимофевна несет себя в своем наряде торжественно, достойно, Анна Тимофевна идет по делу.

Вот дом, у которого бросит якорь баркас, и вот ворота, через которые войдет и выйдет Анна Тимофевна.

На круглой верее набита жестяная дощечка, и там, куда еще не доползла кочковатая ржа, можно прочесть:

«...также предсказываю любовное отношение одного лица къ другому и проч. Плата за сеансь 50 коп. въ зависимости отъ подробностей».

Выйдет Анна Тимофевна перед сумерками, когда из подворотен, высуня языки, начнут вылезать отощавшие псы и навстречу холодку палисадов распахнутся ставни тесовых домишек.

В трепете и нежности она закружится по улочкам, закоулкам и садам, через город, который вдруг вырос из-под земли, большой, прекрасный, полный необычайных людей, красивых и добрых.

Обнять бы, обнять бы людей, обнять дома, сады, покормить и потрепать за уши всех псов, таких потешных, ласковых, глупых. Встретить бы старую, старую подругу, расцеловать ее, рассказать ей обо всем – о чем рассказать? – а так, прошептать два слова, или три, вот так: знаешь, скоро решится. Все, все решится! Ах, как же она не замечала, как же

не замечала Анна Тимофевна, что на акациях уже стручки!..

И правда, скоро все решилось.

Собрались ехать на лодке на подгородный остров.

Антон Иванович подстриг усы, надел вымытую панаму. Анна Тимофевна пришла расцвеченная, гофрированная, крахмальная, в бархотке на шее, в бирюзовых своих сережках, вся в бантах, розетках и воланах.

Володька, подсаживая ее в лодку, изогнулся складным аршином, спросил хриповатым баском:

– Вы, мадам, в Париже обшивались?

– Не дури, – сказал Антон Иванович.

– А шляпка у вас бо марше алле ву д’ор? Это самая теперь модная...

Антон Иванович засмеялся. Анна Тимофевна украдкой взглянула на Володьку, потом спросила Антона Ивановича:

– А Володя и по-французски может?

– Ничего он не может, дурак растет.

– О, как же, мадам, ву зет тре галант, перфект, поссибель – отлично говорю, а папаша только из скромности и от зависти...

Анна Тимофевна старательно укладывала кошельки и пакетики под лавку. Антон Иванович посмеивался, с присвистом всасывая в себя короткие кусочки воздуха. Потом спросил:

– Вы природу любите?

Анна Тимофевна не успела подумать, что ответить, как Антон Иванович начал объяснять:

— Ну, лес там, вода, цветы, все такое...

Анна Тимофеевна опустила голову, завозилась на дне лодки с узелками.

— Ну, как можно, папаша, вы же видите, что мадам понимает!..

Антон Иванович опять засмеялся.

Потом молчали до острова. Володька сидел в веслах, отец правил кормовой лопатой. Анна Тимофеевна лицом к корме, следила за водяными кругами, катившимися от лодки. Иногда ее глаза перебегали на руки и голову Антона Ивановича, но взор тотчас соскальзывал в воду, быстрее капель, стекавших с весел.

Остров короткой глиняной ступней упирался в воду, и только ступня эта была голой и гладкой. В немногих шагах от воды дружно дыбился сочный тальник, густой и путаный, как шерсть, податливый и мягкий. Точно окунутая в воду, лоснилась и млела жирная листва. Сверху тальник накрывала неподвижная сетка мошкеры.

Хорошо было смотреть, как сетка подымалась и редела, когда расступался тальник, хорошо было ступать по прутьям, пригнутым ногами Антона Ивановича и покорно лежавшим на топкой глине. И разве не тонул в зарослях и чаще веток почти неслышный звон мошкеры? И разве не в первый раз за всю жизнь увидела Анна Тимофеевна, как цветут травы, как кружит ястреб и расчерчивает небо береговой воронок?

Как не опьянеть в зеленой гуще тальника, где ничего не видно, кроме неба и листьев? Как не закружиться голове от прохлады стоячей воды и от крепкого, как пиво, запаха глины?

Ах, да, пиво. Анна Тимофевна никогда не пила спиртного и не могла понять, как уговорил ее Антон Иванович выпить стакан пива. И теперь чудилось, что еще не вышли из лодки, и что по небу расходятся и плывут водяные круги, и что тальник растет, как отражение в реке – листвой вниз. И голос Антона Ивановича гудел где-то наверху, над головою, и отделить его от звона мошкеры, тальника и неба было нельзя.

– А я уж беленькой, чистенькой, – говорил Антон Иванович, наливая в чайный стакан водки.

И продолжал:

– Да-с. Жизнь была у меня славная. Ездил я по участкам, строил мосты, получал суточные. А вернешься домой – сын растет здоровый, хозяйство – сад у нас был, оранжерейка, – а тут юг, солнышко, виноград, жена... Жена у меня была... Да что, Анна Тимофевна, жена была... Эх... И так это, знаете, сразу: не было, не было и вдруг – чахотка. Откуда? Почему? С какой стати чахотка? Через год – нет жены. Тут пошло. Володька сорванцом стал, дом продали, деньги – черт их знает, куда ушли!.. Э-эх!

Антон Иванович налил водки.

– Анна Тимофевна, а? Напрасно, выпить – это целебно. Да-с. Теперь подумаешь – даже не верится, неужели так жить



можно, а? Придешь, бывало, взглянешь ей в глаза, и она взглянет, и все, и больше ничего... Черт...

Он завозился, подминая под себя охапки тальнику.

Анна Тимофевна перебирала пальцами ленточки и розетки. Глаза ее остановились.

Володька ушел бродить по острову, и свиста его, криков и визгов уже не было слышно.

– Препротивно теперь я живу, Анна Тимофевна. А остановиться... остановиться не с кем. Володька тоже мерзко живет, в отца живет. И ему тоже противно, конечно. Ему еще призор нужен, мать нужна, материнская ласка. От меня ему какая ласка? Мне самому ласки надо... Без женщины, без сердца женского пусто... Пусто, Анна Тимофевна...

Антон Иваныч мотнул головой, проглотил водку. Потом заглянул в лицо Анне Тимофевне, подсел ближе. Плечом покатым и широким прикоснулся к ее руке.

– Сердце женское, Анна Тимофевна, главное женское сердце...

Он придвинулся еще. Вдруг вскочил на колени, схватился за стакан, шумно глотнул.

– Что же вы молчите, Анна Тимофевна? Неужели вам нечего сказать, а? Нечего?..

Тогда, словно из последних сил, приподняла Анна Тимофевна голову и проговорила:

– Антон Иваныч...

Он невнятно переспросил:

– Что? Нечего?

Она начала опять, чуть слышно:

– Антон Иваныч...

Но он тяжело ухнул наземь, перевернулся на спину, про-  
сунул голову под ее руку и улыбаясь отвислыми губами, об-  
дал ее лицо горячим, прокаленным водкой дыханием:

– А ведь у нас что-то было, а? Давно, давно, а? Как это,  
а? Нюра, Нюрушка, что?..

Он искал ее взор, старался заглянуть ей в лицо, крепко  
сжав ее руки, отводил их в стороны, размякший, красный и  
душный.

Она сидела прямая, вытянувшаяся, вся разряженная, на-  
крахмаленная, под шляпой в цветах и лентах. Дышала так,  
будто на всю жизнь хотела набраться этих пряных, пьяных,  
прелых запахов глины, пива, тальника и стоячей воды.

– Что-то у нас ведь было, а? Нюруш, а?

Он обхватил ее крепко, точно хотел раздавить.

Тогда она уронила голову ему на плечо и зарыдала.

Ленты, розетки, кружева, оборочки и воланы колыхались  
и вздрагивали, как на ветру, и плечи ее толкались в грудь и  
лицо Антона Иваныча.

А он мял ее платье, осевшим, большим своим телом, ва-  
лил ее в сочный тальник, бормотал неразборчивое, пьяное...

Потом, в лодке, когда возвращались в город и Анна Ти-  
мофеевна нежно и стыдливо посматривала ему в лицо, Антон  
Иваныч хмельным тяжелым языком сказал:

– Володя, я, знаешь ли, женюсь.

Володька бросил весла, обернулся, прищурился на отца. Плюнул в ладони, присвистнул через зубы, опять взялся за греблю.

– Володя, не шутя, женюсь.

– Уж не мадам ли сватаете?

– Не дури. Сделал предложение Анне Тимофевне.

Весла булькнули глубоко в воду. Володька вскочил на ноги.

– Что? Что? – вскрикнул он.

Потом перевернулся, показал пальцем на Анну Тимофевну, присел на корточки и провопил:

– Мадам, ма-да-ам! Ух-ха-ха!

И вдруг неудержимым закатился смехом.

Над водою, под высоким небом, от острова к берегу катились, догоняя друг друга, взрывы его хохота. Он задыхался, как в коклюше, ловил и глотал воздух, точно рыба, вытащенная из воды, хватался за грудь, бока, живот, сначала стоял раскачиваясь и качая лодку, потом присел на скамью, потом повалился на дно лодки и все хохотал, хохотал, и все силился еще раз выговорить одно слово, которое повергло его в этот невыносимый смех:

– Ма-да-ам!

Антон Иванович бормотал обидчиво и грозно:

– Шарлатан!.. Дубина!.. Перестань, говорю, олух!..

Анна Тимофевна виновато оправляла на себе оборочки и

смотрела в сторону.

Лодку несло по течению, следом за упущенной кормовой лопатой.

## Глава тринадцатая и эпилог

По утрам, чуть занимался рассвет, Анна Тимофеевна забирала с собой платье и босиком прокрадывалась мимо Антоныч Иваныча, в сени.

Там одевалась, запирала сенную дверь снаружи висячим замком, перекидывала через плечо ременную лямку и бежала на базар, волоча за собой тележку.

По улицам торопились торговки с лотками, корзинами, широкозадые и дебелие, с перетянутыми круглыми животами. Они голосили, остервенело набрасывались на возы, рвали и тянули на стороны кочны капусты, куриные потроха, помидоры и истошно ругались.

И Анна Тимофеевна вместе с ними стервенела, ругалась, пробивала кулаками дорогу сквозь полнотелую толпу – сухопарая, ловкая, скользкая, как угорь.

Потом увязывала в тележке корчаги, кадки, мешки и тянула кладь домой, под перекрестной лепкой бранью торговки:

– У-у-у, жила дьяволова! Нахапала!..

Дома, в сенях, Анна Тимофеевна снимала башмаки и шла в кухню.

Когда на улице поднимался шум, Антон Иваныч начинал кашлять и плевать. Потом кричал:

– Анюта! Пива!

Она бросалась на погребницу, приносила пива, маринованной вишни, расставляла посуду на табуретке у изголовья Антона Иваныча и спрашивала, неуверенно улыбаясь:

– Выспался, Тонечка?

Он лежал, сбросив с себя одеяло, в белье, раскинув ноги и потирая ладонью дряблую, мешковатую грудь. Цедил сквозь зубы не торопясь пиво, постреливал в потолок вишенными косточками, курил папиросы и кашлял.

Приходил с сушилок Володька, тоже в одном белье, подсаживался к отцу, закуривал и недовольно гундел:

– Опять не готов самовар? Сколько раз говорилось, мадам, чтобы чай был готов вовремя?..

– Угли, Володенька, сырые, не раздуешь никак.

– Сырые. Надо сушить...

Чай пили полулежа, не одеваясь, покуривая и перекидываясь тягучими словечками.

Анна Тимофеевна, перетаскав в свою лавчонку привезенные с базара мешки и кадки, открывала торговлю. Босьякам, поденщикам, водолеям с реки божилась, клялась, что за сто верст от города не купишь дешевле, что во всем городе нет таких точных весов, как у ней, а о своей пользе она и не думает.

Это правда, что она не думала о своей пользе.

В полдень в лавчонку входил Антон Иваныч, за ним его сын.

– Ну как, купчиха? – говорил Антон Иваныч.

– Ничего, Тонечка, вот воблу теперь покупают очень хорошо.

– Воблу?... А не завести ли вам омаров, а? Теперь сезон...

– А что это, Тонечка, омары?

– Великолепная, Анна Тимофевна, вещь. Помнишь, Володька, а? На юге-то...

– Может, здесь их и нет совсем, Тонечка?

– Ни черта в этой дыре нет, Анна Тимофевна, да-с... Дайте-ка мне рублик, полтора... Пойду схожу насчет должности. Сегодня в службе тяги обещали...

Когда уходил, на качкий прилавок взбирался Володька и клянчил:

– Мамочка, дайте рублик! Ну, право слово, последний раз... на этой неделе. Ну, мамочка, мамуленочек!..

И, получив, с топотом вылетал на улицу:

– Вот это мадам! Гран мерси баку!

Антон Иванович, отдуваясь и сопя, ползал из этажа в этаж по службам управления дороги, присаживался к столам и конторкам, навел справку:

– В каком состоянии прошение о зачислении на службу путейского инженера Энгеля?

Выслушав отказ, не спеша шел в пивную, оттуда – домой, обедать. После обеда спал, проснувшись – кашлял, плевал, пил пиво, потом уходил в билиардную.

Возвращался ночью, когда Анна Тимофевна, убрав комнаты, умытая и причесанная, считала выручку. Если был ве-

сел, сажился за стол и не спеша писал новые прошения о зачислении на службу.

Анна Тимофеевна смотрела на него тогда чуть дыша, застывшая, светлая, удивленная. Глаза ее были прозрачны и тихи.

Володька как-то сказал отцу:

– И охота вам пороги обивать, насчет службы? Чего вам не хватает?

Анна Тимофеевна всполошилась:

– Как можно, Володенька, что это вы? Антон Иванович – и без службы! Кому же тогда и служить? Только недоброжелание кругом и зависть, а то бы давно самое важное место...

Антон Иванович взглянул мельком на сына, хмыкнул:

– Я по привычке... да и скучно...

Потом хмуро уставился на Анну Тимофеевну:

– А ты что волнуешься, ты? Что меня на должности сватаешь! Что я, дармоед?

Она испуганно вскрикнула:

– Тонечка, господь с тобой! Да что ты подумал? Что ты, что ты, господи!

Он встал, потянулся и бросил неохотно:

– То-то!

Заходил по комнате взад-вперед, шаркая туфлями, дымя папироской. Потом надумал:

– Пойдем прогуляться. Что ты все дома да в лавочке...

Анна Тимофеевна чуть слышно пробормотала:



– Мне ведь хорошо, Тонечка. Пошел бы один...

– Ну, ну, собирайся! И ты, Володька. Всем семейством...

Анна Тимофевна засуетилась. В шкафу нетронутыми со свадьбы висели ее наряды, и перебирать их было ново и радостно.

Антон Иванович оделся раньше ее и, развалившись на кровати, прислушивался к шелесту платьев.

– Готова? – спросил он, приподнявшись на локоть и разглядывая Анну Тимофевну.

И вдруг захохотал:

– Володька, хо-хо-хо! Володька, нет ты только посмотри на нее, хо-хо! Она пудрится! Ты посмотри, хо-хо, нос-то, нос! Ах, ты, чучело... Пойдем, Володя!

И они ушли, шумно и озорно раздвинув по пути стулья.

Анна Тимофевна опустилась на кровать. Кругом нее на табуретках, по полу, и на постели топорщились оборочки, ленты, кружева и воланы. Из открытого шкафа пахло нафталином.

В темноте, неподвижная, тихая, она просидела до зари. Точно разбуженная ею, надела будничное платье, не торопясь, с любовью разгладила, сложила свои наряды, развесила их в шкафу и плотно закрыла его дверцы.

На восходе вернулся Антон Иванович, и сразу стремительно побежало время, и день наступил полный, занятой и скорый.

И так чередовались эти дни, незаметные, короткие, и была в них радость.

– Анюта, пива!

– Тонечка, выпался?

И еще: сберечь копейками, пятаками, накопить пять, шесть рублей и невзначай, к слову, спросить:

– Может, ты, Тонечка, купить что-нибудь хочешь?

И смотреть, как расправляются и ползут со лба на лысину его морщинки и слышать обрадованный смешок:

– Кха-ха-ак! Купчиха, право, кха-ха-а...

Осенью Володька перебрался с сушилок в комнаты. В дожди и холод играл с отцом в шашки, валялся на постели, скучал.

И вот этой осенью, когда холодные дни смели по взвозам на берег шуршавшие, как коленкор, листья, этой осенью нечаянно и просто пришел конец.

Подслеповатая лавчонка Анны Тимофевны стояла на взвозе, косыми оконцами поглядывая в реку. Вдоль берега, причаленные к неразобраным плотам, поскрипывали дощаники с горками полосатых арбузов. С полудня и до вечера дощаники разгружали поденщицы, перебрасывая из рук в руки скрипевшие на ладонях, как сходни, прочные, зеленые шары. По утрам из города набегали торговцы, лазали, прыгали по плотам и сходням, забирались в дощаники, волокли арбузы в корзинах и мешках на берег.

И здесь, как на базаре, нельзя было приметить Анну Тимофевну в поворотливой толпе, и здесь она отбивалась локтями от наседавших завистниц, голосила, рвала из чужих рук

свою удачу, ничем не отличная от крикливых торговок.

В это утро – придавленное частым дождем – река завилась беляками, и ветер гонял их широко и шумно. Дощаники, точно насаженные на тугую пружину, подпрыгивали неровно, и глухо стучались об их бока растеребленные бревна плотов. Сходни закопались в береговой песок. Были они скользкие, как тесина, пролежавшая долго в воде, и кладь катилась по ним, как по льду.

Наложив через края двуручную корзину арбузами, Анна Тимофевна докатила ее почти до берега, когда, пробираясь на дощанике, кто-то толкнул корзину ногой. Она скользнула со сходней коротким полукругом и тяжело плюхнулась в воду. Один за другим на поверхность вынырнули и поплыли, покручиваясь, арбузы.

По берегу, на дощаниках поднялся крик и хохот.

– Багром их, багром, маманя!

Анна Тимофевна сбежала со сходен и, точно не слыша смеха, не задумываясь, вошла в воду. Берег был отлогий, кругом, точно раздерганная мочала, плавали бревна, постукивались лодки – к ним плотно прибило арбузы. По пояс в воде, Анна Тимофевна собрала их в корзину под немолчный, веселый хохот поречан, увязала кладь в тележку и потянула ее по крутому взвозу.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.